

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Убежище Монрепо

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=315432

Аннотация

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) родился в старой дворянской семье, в селе Спас-Угол, Калязинского уезда Тверской губернии. Десяти лет от роду он поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя – в Царскосельский лицей.

Здесь еще были свежи воспоминания о первом, легендарном, пушкинском выпуске. По традиции каждый курс в лицее имел своего поэта, и одним из таких стал Салтыков-Щедрин.

Однако литературное дарование писателя раскрылось гораздо позднее и на другой стезе. Мрачноватый юмор его повестей и отнюдь не детских сказок, гениально созданная атмосфера удушливого ужаса в романе «Господа Головлевы» – все это известно каждому из нас со школьных лет.

Мы предлагаем вниманию читателя один из малоизвестных романов Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1882).

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР	4
ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО	58
МОНРЕПО-УСЫПАЛЬНИЦА	120
FINIS [9] МОНРЕПО	168
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	232

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Убежище Монрепо

ОБЩИЙ ОБЗОР

– Вы, конечно, на лето уединитесь в свое Монрепо?

– Разумеется! надо же отдохнуть!

Светские диалоги

От чего отдохнуть – это вопрос особый; но уехать на лето во всяком случае надо. Летом города населяются дулебами, радимичами, вятичами и пр., в образе каменщиков, штукатуров, мостовщиков, совместное жительство с которыми для культурного человека по многим причинам неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ездил по летам в подмосковную. Имение это я приобрел тотчас вслед за уничтожением крепостного права и купил, надо сказать правду, довольно без-

образно. Во-первых, осматривал имение зимой, чего никто в мире никогда не делает; во-вторых, напал на продавца-старичка, который в церкви во время литургии верных приходил в восторженное состояние – и я поверил этой восторженности. Старичок служил когда-то по провиантскому ведомству и потому был благодушен и гостеприимен. Зазвал меня обедать, накормил настоящим малороссийским борщом и угостил киевской наливкой. Потом сам поехал со мной осматривать усадьбу, где велел сварить суп из курицы и зажарить карасей в сметане, причем говорил: «Курица эта здешняя, караси тоже из здешнего пруда, а в реке, кроме того, водятся язи, окуни и вот такие лини!» Затем начался осмотр. Выйдя на крыльцо господского дома, он показал пальцем на синеющий вдали лес и сказал: «Вот какой лес продаю! сколько тут дров одних... а?» Повел меня в сенной сарай, дергал и мял в руках сено, словно желая убедить меня в его доброте, и говорил при этом: «Этого сена хватит до нового с излишечком, а сено-то какое – овса не нужно!» Повел на мельницу, которая, словно нарочно, была на этот раз в полном ходу, действуя всеми тремя поставами, и говорил: «здесь сторона хлебная – никогда мельница не стоит! а ежели еще маслобойку да крупорушку устроите, так у вас такая толпа завсегда будет, что и не продерешься!» Сделал вместе со мной по сугро-

бам небольшое путешествие вдоль по реке и говорил: «А река здесь какая – ве-се-ла-я!» И все с молитвой. Скажет, и перекрестится, и зрачками вверх поведет, и губами пошевелит, словно на вся и на всех призывает благословение божие. Только в заключение рассердился. Погрозился кулаком на крестьянский поселок, населенный новоиспеченными временнообязанными, и присовокупил: «Все из-за них, канальев! Кабы не они, подлецы, кажется, ни в жизнь бы из этого рая не выехал!»

Словом сказать, очаровал меня искренностью. И что еще больше мне понравилось: слабых сторон имения не скрыл. «Вот службы легонькие, это так! и озимое по милости подлецов незасеянное осталось – этого тоже скрыть не могу!» Но при воспоминании о «подлецах» опять рассердился и присовокупил: «Впрочем, дело об них уж в уголовной палате решено; вот как шестьдесят человек березовой кашей вспрыснут, так до новых веников не забудут!»¹

При каковом осмотре присутствовал и местный сельский батюшка, который скромно пощипывал бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

¹ Всего в имении числилось 160 ревизских душ (ревизия была в 1859 году), в том числе, разумеется, наполовину подростков и малолетних. Решение московской уголовной палаты действительно состоялось в этом роде, но сенат его отменил, и дело, кажется, кончилось ничем. (Авт.)

Я был тогда помоложе и ни к каким хозяйственным делам прикосновенным не состоял. Случились в кармане довольно большие деньги (впрочем, данные займы), но я как-то и денег не понимал: все думал, что конца им не будет. Словом сказать, произошло нечто вроде сновидения. Только одно, по-видимому, я знал твердо: что положено начало свободному труду, и земля, следовательно, должна будет давать вдесятеро. Потому что в то время даже печатно в этом роде расчеты делались.

Замечательно, что я родился и вырос в деревне. До десяти лет я жил в деревне безвыездно; потом, когда начались странствования по казенным заведениям, ежегодно на летние вакации приезжал в побывку домой. Я знал, что такое лес, и множество раз даже хаживал туда за грибами и ягодами; я умел отличить ячмень от ржи, рожь от овса; я видел, как возят навоз на поля, как пашут, боронят, сеют, жнут, молотят, косят. И за всем тем решительно ничего не понимал. Воистину, это была не действительность, а сновидение, от которого задержались в сознании только лишённые всякой связи обрывки...

Родители мои слыли в своей стороне за очень опытных и рачительных хозяев. Они «сами во все входили», чего в то время было совершенно достаточно, чтоб заслужить репутацию «хозяина». Каждый

вечер староста приходил в барский дом с отчетом об успехе произведенных в течение дня работ; каждый вечер шли бесконечные разговоры, предположения и сетования; отдавались приказания на следующий день, слышались тоскливые догадки насчет вёдра или дождя, раздавались выражения: «поголовно», «брат на брата» и другие сельскохозяйственные термины в крепостном вкусе. Я очень часто присутствовал при этих переговорах и, помнится, даже интересовался ими, тем более, что рядом с ними шли распоряжения и насчет домашних запасов, которые в виде варенья, соленья, сушенья и квашенья производились во множестве. Перед моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходил тот кропотливый процесс, при помощи которого создается так называемая полная чаша. Я видел эту полную чашу во всех ее проявлениях: в амбарах, наполненных всякого рода хлебом, в погребах и кладовых, на скотном дворе, в плодовых садах и проч. Везде, по всей усадьбе, словно в муравейнике, с утра до ночи копошились люди и всё припасали и припасали. А ночью около полной чаши похаживал сторож и бил в чугунную доску. Все это я видел, знал наизусть и мог даже своими словами все рассказать, однако и за всем тем ничего не понимал. Очевидно, тут был какой-то изъян. Я знал формы, в которых проявлялось сози-

дание полной чаши, но не понимал внутреннего содержания этих форм. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилий, физического труда, изнеможений, пота, ропота и отчаяний, которыми сопровождалось устройство полной чаши. Кажется, что я думал так: стоит папеньке с маменькой только приказать старосте Лукьянычу – и у нас будет и рожь, и овес, и сено...

Поэтому, когда я покончил с вопросом о подмосковной, то есть совершил купчую крепость и вступил во владение, то сонное видение еще некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчас же обнаружались факты, которые должны были бы самого заспанного человека заставить прийти в себя. А именно: густой и высокий лес, на который мне указывал пальцем старичок-продавец, оказался чужой, а *мой* лес был низенький и редкий; вместо полных сенных сараев оказались искусно выведенные из сена стенки, за которыми скрывалась пустота; на мельнице помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сено на лугах «временем родится», а «временем – нет», да и сено – «с осочкой». Одно вышло справедливо: службы были легонькие, то есть совсем ветхие, а речка действительно веселая: излучистая, сверкающая и вся в зеленых берегах.

Тем не менее я не впал в уныние и начал деятель-

но приспособляться в своем новом гнезде. «Сонные видения» детства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себе и нечто такое, что залегло во мне довольно прочно. А именно: они положили основание убеждению, что всякий человек имеет как бы естественную потребность в своем собственном угле. Там он сосредоточит все заветное, пригретое, приголубленное; туда он придет после изнурительных скитаний по белу свету, чтоб успокоиться от жизненных обид; там он взлелеет своих детей и даст им возможность проникнуться впечатлениями настоящей, ненасурмленной действительности; там он почувствует себя свободным от всяческой подлой зависимости, от заискиваний, от унижительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словом сказать, представление об этом «собственном угле» было всегда до того присуще мне, что когда жить за родительским хребтом сделалось уже неловко, а старое, насиженное гнездо, по воле случая, не дошло до рук, то мысль об обретении нового гнезда начала преследовать меня, так сказать, по пятам.

И, как сказано выше, я это гнездо обрел.

Я не буду рассказывать здесь историю моих хозяйственных походов. Это было что-то фантастическое. Неудача во всем. Хлеб, по виду, казалось, хорош родился, а в амбар его дошло мало («стало быть,

при молотьебе не доглядели», объяснили мне «умные» мужички); клевер и тимофеевка выскочили по полю махрами («стало быть, неровно сеяли: вот здесь посеяли, а вот здесь пролешили»). Два года, однакож, я упорствовал, то есть сеял и жал, но на третий – смирился. Или, говоря другими словами, начал смотреть на свое имение как на дачу для двух-трехмесячного летнего пребывания. Нарушил все хозяйственные затеи, а так называемую «угоду», за исключением усадьбы, сдал крестьянам за такую годовую плату, которой недоставало даже для удовлетворения скромных издержек по управлению и сам удрал в Петербург.

При таком упрощенном взгляде дело шло кое-как ровно пятнадцать лет. Я ездил по летам в свое собственное Монрепо и не без удовольствия взирал на «веселую» речку, которая сверкала перед самыми окнами господского дома. По временам на островок, образуемый мельничной запрудой, налетал соловей и грохотал и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствие, хотя и кратковременное, потому что к утру соловей уже был *непрерменно* подкараулен и изловлен фабричными из соседнего села. Во всяком случае, я жил без мучительных помыслов о дожде или ведре, без легкомысленных догадок о том, что в данную минуту происходит в поле: произрастает или не

произрастает. Ничего «своего» у меня не было, так что за каждой безделицей я посылал в Москву, и, к удивлению, все выходило и лучше и дешевле, нежели при хозяйственной заготовке. Был у меня, правда, небольшой огород, каждую весну засаживаемый неумелыми руками, но и он не заставлял моего сердца сжиматься, так как я с первого же года понял, что овощи в этом огороде будут поспевать как раз ко дню моего выезда из деревни в город.

Напоследок, однако ж, обнаружилось, что и с упрощенным взглядом бесконечно жить невозможно. Появилась целая серия фактов довольно странного свойства. Лес (хоть и не тот высокий, который мне рекомендовал старичок-продавец, но все-таки был лес) перестал произрастать. Березовая роща, которую я застал в качестве «опушечки», так и осталась опушечкой через пятнадцать лет. Осиновая роща, которую я сам срубил, в чаянии, что осина идет ходко, представляла через пятнадцать лет голое место, усеянное пеньками («стало быть, коров по ём пасут», объяснили «умные» мужички, они же и арендаторы). Поля загубели; луга, дававшие когда-то мягкое сено, начали давать почти исключительно острец. Таковы были последствия крестьянской аренды и моего упрощенного взгляда на имение. В самом доме оказывались изъяны, которые предвещали в ближайшем будущем

очень серьезный расход. В парке дорожки до того заросли, что для расчистки их тоже требовалась целая уйма денег. К довершению всего, так как усадьба отстояла от крестьянского поселка не близко и как с разрушением хозяйства прислуги при усадьбе содержалось мало, то ночью брала невольно оторопь. Правда, что в нашей стороне об «лихих» людях слухов еще не было, но верст за десять, за двенадцать, около станции железной дороги, уже «пошаливали». Припоминая стародавние русские поговорки, вроде «неровён час», «береженого Бог бережет», «плохо не клади» и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станции железной дороги, начинает подходить к нам все ближе и ближе (один грек приведет за собой десять греков, один еврей сотню евреев), я неприметно стал впадать в задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. В короткий пятнадцатилетний период моего владения подмосковной почти весь землевладельческий состав кругом меня изменился. В ближайшей ко мне старинной княжеской усадьбе с вековыми лесами, со знаменитыми оранжереями и с прекрасно устроенным господским домом в течение двух лет переменялось два владельца, из коих один – еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные к постройке храма Христа спасителя, при-

шел адвокат, выигравший какое-то волшебное дело и сейчас же поспешивший сделаться «барином»; наконец, появился грек, который, поселившись в версте от меня, влез в нашу скромную сельскую церковь и выстроил себе что-то вроде горнего места, дабы все видели как он, Самсон Дюбекович, своего бога почитает. Остались незыблемыми только два старинных и замечательно крупных землевладельца, из тех, которых уж никакие изъяны заставить врасплох не могут.

Задумчивость моя усугублялась с каждым годом. Пришельцы-соседи устраивались по-новому и проявляли поползновение жить шумно и весело. Среди этой вдруг закипевшей жизни, каждое движение которой говорило о шальной деньге мой бедный, заброшенный пустырь был как-то совсем не у места. Ветшая и упадая, он как бы говорил мне: беги сих мест, унылый человек!

И я внял этому голосу, хотя и не без внутреннего волнения. В окна, главное, дуло, да и об кухне шли слухи, что скоро совсем там готовить кушанье будет нельзя. Приходилось или зле погибнуть или уйти.

Я выбрал последнее и льщу себя надеждой, что в самую пору.

Но в ту минуту, как я уходил, старинное стремление к гнезду вдруг опять закопошилось во мне. «Каким же это образом? – думалось мне, – ужели я так-таки и

останусь без собственного Монрепо?»

Оставим Энгельгардтам доказывать, что полевое хозяйство может приносить барыши, сами же займемся разрешением вопроса: что такое культурный человек и чего, собственно, он может ожидать от деревни?

Культурный человек вообще есть личность, в значительной степени пользующаяся досугом, имеющая более или менее отчетливые представления о комфорте и жизненных удобствах, охотно делающая экскурсии в область эстетики и спекулятивного мышления, но очень редко обладающая прикладными знаниями, то есть тем именно орудием, которое более всего необходимо, чтоб быть деятелем-земледельцем. Недаром генерал Шангарнье, приглашая однажды французское собрание разойтись по случаю канicularного времени, рисовал картину успокоения на лоне природы, с эклогами Виргилия в руках.

Хотя речь почтенного генерала возбудила в известной части собрания смех, но, в сущности, он вполне правильно охарактеризовал отношения культурного человека к сельской природе. Не полеводство нужно культурному человеку, а только общий вид полей. Ему нужны: прогулка, отдых, много воздуха, отсутствие волнений, беззаботность, по временам дружеская беседа с единомышленными людьми, по временам – одиночество, пожалуй, хоть с Вергилием в ру-

ках. Не труда ищет он в сельском убежище, а безмятежного растительного существования, которое служило бы поправкой пряностям, изнурившим его в городе.

Наш русский культурный человек носит на себе те же родовые черты, как и западноевропейский. Разница только в том, что у него еще больше досуга, а интеллектуального запаса значительно меньше. Сверх того, как мы ни стараемся о насаждении классицизма, но русский культурный человек в деле знакомства с древними классиками и ныне едва ли идет дальше басен Федра, иметь которые в качестве настольной книги несколько, впрочем, совестно. Поэтому он Вергилия заменяет какой-нибудь другой умственной пищей, смотря по степени личного развития каждого, от Дарвина и Молешотта до Золя и Ксавье де Монтпена включительно.

Я вполне понимаю потребность, ощущаемую русским культурным человеком, — воспользоваться двумя-тремя летними месяцами, чтоб восстановить себя на лоне природы, и не нахожу ее ни незаконной, ни достойной осмеяния.

Зима, проводимая большею частью в городе, действует изнурительно. Я не говорю уже о спертom воздухе в помещениях, снабженных двойными рамами и нагреваемых усиленной топкой печей, — этого одно-

го достаточно, чтобы при первом удобном случае бежать на простор; но кроме того у каждого культурного человека есть особое занятие, специальная задача, которую он преследует во время зимнего сезона и выполнение которой иногда значительно подкашивает силы его. Какого рода эти задачи и есть ли от них какой-нибудь прок – это другой вопрос; но так как они не считаются противозаконными, то для большинства этого совершенно достаточно. У нас есть, прежде всего, целая армия чиновников, которые с утра до вечера скребут перьями, посылают в пространство всякого рода отношения и донесения и вообще не разгибают спины, – очевидно, им отдых нужен, хотя бы для того, чтобы очнуться от тех «милостивых государей», с которыми они девять месяцев сряду без усталости ведут отписку и переписку. Затем есть масса дельцов: адвокатов, биржевиков, сводчиков, концессионеров, журналистов и т. п., которые тоже шестнадцать часов в сутки мелькают и мечутся, – очевидно, отдых нужен и им. Наконец, существует множество людей, которые утром занимаются деланьем визитов, а вечером посещают театры, цирки, балы, шпигбалы, игорные дома, рестораны, – и им тоже необходим отдых, потому что иной одним культивированием кокоток так себя за зиму ухлопает, что поневоле запросится вон из города.

Я знаю, что все эти кипения и мелькания грошовой, а иногда даже и вредные, но так как люди, находящиеся на страже, ничего против них не имеют, то тем менее могу иметь против них что-нибудь я, которому вообще ничего и ни от кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать факт изнурения – и делаю это.

Само собой разумеется, что большинство культурных людей из тщеславия, а также и ради того, чтобы не порвать совсем с зимними пакостями, стремятся по преимуществу в Павловск, в Петергоф, в Озерки и т. д. Что они там обретают, какую природу, какой восстанавливающий воздух, какое питание, – я этого не знаю. Я отроду не жывал в этих местах и, надеюсь, никогда жить не буду, как ни соблазнительны описания озерковских шпицбалов с оркестром Главача и кухней Ломача. К счастью, не все Заманиловки подверглись разрушению, а потому есть еще достаточно большая масса культурных людей, которые, не заглядывая в Озерки, устремляются к старинным «собственным» пепелищам. Одни едут поневоле, потому что хоть и распостылая эта Заманиловка, а все-таки своя, и надо за ней присмотреть, чтоб окончательно ее не расхитили; другие – потому что и в самом деле не понимают летнего житья иначе, как в настоящей деревне, с настоящими полями и настоящим лесом.

Надо, впрочем, сказать правду, что для того, чтоб прожить в современной Заманиловке три-четыре месяца кряду, требуется некоторая храбрость. Очень уж нынче там глухо и непривольно. Во-первых, пусто, потому что домашний персонал имеется только самый необходимый; во-вторых, неудовлетворительно по части питья и еды, потому что полезные домашние животные упразднены, дикие, вследствие истребления лесов, эмигрировали, караси в пруде выловлены, да и хорошего печеного хлеба, пожалуй, нельзя достать; в-третьих, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станции железной дороги (это было в особенности чувствительно во время последней войны); в-четвертых, не особенно весело и по части соседей, ибо ежели таковые и есть, то разнослов у них не полагается, да и ездить по соседям, признаться, не в чем, так как каретные сараи опустели, а бывшие заводские жеребцы перевелись; в-пятых, наконец, в каждой Заманиловке культурный человек непременно встречается с вопросом о бешеных собаках. Как ни исключительным представляется этот последний вопрос, но он очень существен. Каждое лето непременно откуда-то (откуда – никто даже определить не может) забежит желтенькая, сивенькая или черненькая собачка, худая, с помутившимися глаза-

ми и опущенным хвостом, перекусают на деревне целую уйму собак, а затем поднимет переполох и на господской усадьбе. И долго потом эта сивенькая собачка живет в воображении детей и женщин, заставляя их озираться во время прогулок и мешая рискнуть забраться куда-нибудь подальше от жилья, в луга, в лес.

Я уже не говорю о развлечениях амурных, хотя и не без вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивейшего и художественнейшего описателя наших бывших «дворянских гнезд», у которого на каждого помещика (молодого и образованного) непременно приходилась соответствующая помещица.

Но люди, для которых деревня почему-либо составляет необходимость (хотя бы ради связи с прошлым или ради приобретения ясного представления о рваном русском мужике), охотно примиряются со всеми этими неудобствами за те воистину восстанавливающие (физически и умственно) блага, которыми она обилует. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь из них ту сумму обновленных сил, которая нужна для бодрого перенесения предстоящих в зимний сезон задач (в чем бы они ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину полного и невозмутимого безмятежия. А отсюда первая и главная обязанность: немедленно, всецело и навсегда удалить от себя вся-

кие сельскохозяйственные распоряжения и предприятия. Эти последние волнуют и изнуряют пуще всех огорчений, которые испытывает культурный человек во время длинного зимнего сезона, потому что они не дают ни отдыха, ни срока, преследуют ежеминутно и производят тем большую досаду, что, в сущности, цена каждой из них, взятой в отдельности, – грош. В эту самую минуту, когда я пишу эти строки, в окна моей комнаты барабанит дождь, а между тем теперь самое горячее время для уборки сена, которого везде подкосошено множество. Благо тому культурному человеку, у которого нет ни сена в лугах, ни хлеба в полях, потому что, будь все это, он непременно бы мучился. Он думал бы: «Ах, сено сгниет! ах, рожь прорастет!» – и, несмотря на мокропогодицу, выбежал бы на улицу. Зачем бы он выбежал? что мог бы сказать или посоветовать? – он и сам, наверное, не ответил бы на эти вопросы; но выбежал бы несомненно, потому что его подстрекнул бы к тому демон собственности. И в результате оказались бы: потеря времени и простуда. Тогда как, свободный от сена, ржи и овса, он может спокойно, «в надежде славы и добра», посматривать в окно и думать: «А вот сейчас разгуляется, и я, как обсохнут дорожки (летом земля сохнет изумительно быстро), пойду в парк...»

Что сельскохозяйственные заботы тиранят ежеми-

нотно – это аксиома, которая, я полагаю, не требует доказательств. Природа действует отнюдь не по писаному и почти всегда все людские предположения переворачивает вверх дном. Но все-таки скажу, что культурного досужего человека эти заботы тиранят не в пример сильнее, нежели заправского земледельца. Для культурного человека – все новость, все сюрприз; и при этом, ежели у него, с одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, с другой стороны, ровно столько же досуга он имеет и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящего земледельца нет времени мучить себя; для него нет сюрпризов, он ко всему привык и всего ожидает. Он знает, что, как бы ни велико было количество сюрпризов, он, земледelec, в конце концов все-таки «управится», то есть одолеет личным трудом все, что в данную минуту одолеть можно. А культурный человек – что он знает? Он глядит на непросветное небо и думает: «Ах, все погибло!» Сверх того он видит, что «хамово отродье», нанятое для собирания плодов земных в житницы, сидит мокрое под навесом и бьет баклуши, и это опять волнует его...

Культурный человек бесконечно легковверен и притом в высшей степени одарен художественными инстинктами. Вот почему для него выгоднее совсем не родиться на свет, нежели возгореть страстью к поле-

водству. Будучи по воспитанию совершенно чужд прикладных знаний, он обыкновенно приступает к сельскохозяйственному делу с печатной книжкой в руках. Но он читает эту книжку не глазами обыкновенного смертного, а глазами воображения, забывая, что ничто так легко не поддается подкупу, как воображение, подстрекаемое жаждою барыша. Это воображение рисует ему урожаи сам-десять и сам-двенадцат (в «книжке» они доходят и до сам-двадцат); оно рисует ему коров, не тех тощих фараоновых, которые в действительности питаются мякинным ухвостьем на господском скотном дворе, а тех альгаузских и девонширских, для которых существует урочное положение: полтора ведра молока в день; оно рисует молотилки, веялки, жатвенные машины, сеноворошилки, плуги и пр. – и все непременно самое прочное и достигающее именно тех самых результатов, которые значатся в сельскохозяйственных руководствах, а иногда и просто в объявлениях братьев Бутеноп. В результате происходит радостный сельскохозяйственный апофеоз. Культурный человек не принимает в расчет ни ведра, ни дождя, ни ветров, ни червя, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что в один прекрасный день у привода молотилки вдруг не окажется ремня, а у самой молотилки двух-трех пальцев (вчера еще все было цело, а вдруг за ночь пропало!). Много-много,

ежели при вычислениях сам-десять и сам-двенадцат он снизойдет до принятия в соображение заработной платы серому человеку, приводящему в движение все эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислит аккуратно, как написано в книжке: десятину луга ско- сить – косцов столько-то, сено сушить – баб столько-то. Короче сказать, он видит барыши и не предпо- лагает ущербов. Сенокос у него всегда сопровождается вёдром с легким попрыскиванием дождичка по утрам (надо же и природе что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойчее берет), сев никогда не об- ходится без благоприятного дождя; машины действу- ют безостановочно и без ремонта, ремни никогда не пропадают и т. д.

Верит «книжке» культурный человек безусловно. Не потому верит, чтобы понимал сущность изложен- ного в ней, а потому что она, так сказать, предупре- ждает его желания. Он читает «книжку», как роман, или, вернее, как поваренную книгу, в которой описы- ваются самые лакомые блюда. Читает и, останавли- ваясь на процессе производства лишь настолько, что- бы не утратилось впечатление общей сельскохозяй- ственной картины, с радостным нетерпением пере- скакивает к конечному результату (собрание плодов в житницы), который, разумеется, всегда оказывается благоприятным. Он не хочет знать, что книжку писал

человек, обладающий подлинными знаниями (иногда, впрочем, и просто рутинер-шарлатан), который может и неудачу предусмотреть и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человек, ты, воспитанник Федра, – что ты можешь? Ведь ежели ты, на свою беду, вычитал в книге «ошибку», то ты не только не исправишь ее, а, напротив, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обещает тебе сам-десять. И тогда что станется с тем эфемерным зданием, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображение?

Понятно, что при такой степени возбуждения художественных инстинктов всякое вмешательство сил природы, мало-мальски не соответствующее заранее облюбованным результатам, кажется посягательством и служит поводом для мучений и проклятий. Зачем ведро? зачем дождь? – вот те несомненно глупые вопросы, которые с утра до вечера раздаются в тех из помещичьих гнезд, где еще не созрело убеждение, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тем глупее, что культурному человеку заранее известно, что они наверное останутся без ответа, так как он не имеет даже средств извернуться или приспособиться к тому, что он называет неожиданностями и подвохами. Серый человек – тот во всякое время, при всяких

условиях найдет для себя подходящее дело, которое прямо или косвенно тому же полководству принесет пользу. Но культурный человек при всяком сюрпризе, изменяющем его план, становится в тупик, не зная, где и как ему возместить затрату, сделанную именно на тот, а не на иной предмет. И велико бывает его изумление, когда он, утешавший себя мыслью (да, он до того озлоблен, что даже может себя утешать неудачами других), что и у других сено почернело и сгнило, вдруг видит целые массы совершенно зеленого сена, приготовленного заботливыми руками меньшого брата, который не прал против рожна в дождь, но нашел другое приличествующее ненастью занятие: городил городьбу, починял клеть или, наконец, и просто отдыхал.

Я живо помню первые годы, последовавшие за эмансипацией крестьян. В то время, как раз кстати, г-н Бажанов издал книгу о плодопеременном хозяйстве вообще, а г-н Советов – книгу о разведении кормовых трав. Обе читались всласть, как роман, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь стоит только действовать по писаному, чтобы на землевладельцев полился золотой дождь. Закипела деятельность. Во-первых, в помещичьих усадьбах появились люди, которые прежде никогда в деревнях не жилали, люди преимущественно молодые (ста-

рики благоразумно устранились или продолжали до- скрипывать век с урочным барщинным положением), оставившие службу и другие занятия и полные веры в вольный труд. Во-вторых, накоплено было множество орудий, о которых до тех пор имелись только смутные представления, как о чем-то редком и недоступном. В-третьих, начался обмен мыслей о том, что пристойнее: сам-десять или сам-двенадцат. В-четвертых, наконец, приступлено было и к действительным распоряжениям по Бажанову и Советову. Богатые люди жертвовали при этом своими избытками, а люди недостаточные отказывали себе в привычном комфорте и смотрели сквозь пальцы на упадок своих жилищ ради того, чтоб купить лучших семян, лучших плугов, плужков, скоропашек и пр. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложены). Но с первых же шагов (увы! решительность этих шагов была такова, что, сделавши один, т. е. накупив семян, орудий, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назад, не испивши всей чаши севооборота до дна) хозяйственная практика выставила такие вопросы, разрешения на которые не давал ни Бажанов, ни Советов.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочих, при двух исправных плугах, легко могут вспахать в день казенную десятину. Но ежели они не вспашут – как с этим быть? Доказывать ли, с Бажановым в руках,

что священный долг каждого рабочего – вспахать не менее полдесятины? – но они ответят на это: «Итак не гуляли». Броситься ли на тунеядца с распростертыми дланями и скверным словом на устах? – но он, как человек, сознающий себя героем *вольного* труда, пожалуй, сам даст сдачи. Судиться ли? – но перед каким судом и где взять критериум для судебной оценки? Рассчитать ли, наконец, неисправного или небойского работника? – но завтра же другой герой вольного труда не допашет ровно столько же, а быть может и больше. Приходится смириться и сообразно с сим делать поправки в расчетах. А так как это поправки бесконечные, то в конце концов из них образуется целая паутина, в которой человек будет биться, покуда не опостылеет все: и выкладки, и затеи, и поля, и луга, и люди, которые пашут и не допахивают, косят и не докашивают. А сколько было когда-то обмена мыслей по поводу слов: *легко* вспашут полдесятины? Легко? То есть, вероятно, вспашут и больше? Но положим, что только полдесятины; следовательно... А кончилось тем, что хоть бы и не смотреть, как он там на одном месте топчется! Надоело, надоело, надоело.

«Надоело» – это слово очень веское и решительное в человеческой жизни вообще и в особенности в жизни культурного русского человека, изумительная художественная восприимчивость которого тре-

бует пищи беспрестанной и разнообразной. Но еще решительнее звучит оно, когда человек начинает прозревать (все с помощью тех же художественных инстинктов), что не столько ему все надоело, сколько он сам всем надоел. Тот же Бажанов, например, говорит, что земледельческие орудия следует держать в нарочито выстроенном сарае и что по окончании дневной работы необходимо их вытереть, потому что иначе железо ржавеет, и инструмент не прослужит и половины урочного срока. Ничего не может быть справедливее этого совета и законнее основанного на нем требования. Но беда в том, что у вольнонаемного рабочего правила о содержании инструментов в опрятности и до сих пор еще не выжжены на скрижалях сердца огненными буквами. Во-первых, у него совсем не болит сердце по хозяйском добре; во-вторых, дома у него такие рабочие орудия, с которыми он никогда не имел надобности церемониться, а следовательно, и вытирать их досуха привычки не приобрел. Он просто не думает о рабочих инструментах и потому не считает уход за ними входящим в круг его обязанностей. Сверх того, хотя он, быть может, и не допахал против урока, но все-таки время свое выстоял и порядком-таки устал. Он спешит выпрячь лошадь, чтобы скорее отужинать и лечь спать, — досуг ли ему с инструментом возжаться? Следовательно, предстоит

нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйские орудия во всегдашней исправности. Напомните один раз – он, конечно, выполнит с грехом пополам вашу *прихоть*. Напомните в другой раз – услышите ответ: «Не что ему (или ей) сделается за ночь!» Напомните в третий раз – ответа не последует, но на лице прочтете явственно: «Ах, распостылый ты человек!» Напомните в четвертый раз... но в четвертый раз вряд ли вы и сами решитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надоели, намозолили глаза, и вам совестно.

Вот чего не предусмотрели ни Бажанов, ни Советов, а между тем такого рода недоумения встречаются чуть не на каждом шагу. Везде культурный человек видит себя лишним, везде он чувствует себя в положении того мужа, у которого жена мучилась в потугах рождения, а он сидел у ее изголовья и побряхтывал. Везде, на всех лицах, во всех ответах он читает и слышит одно слово: надоел! надоел! надоел!

И вот, когда он убеждается, что бажановского урочного положения ему поддержать нечем, что инструмент рабочий, на приобретение которого он пожертвовал своим личным комфортом, воочию приходит в негодность, что скот содержится неопрятно, смердит («не кадило!» – ворчит скотница на сделанное по этому поводу напоминание) и обещает в ближайшем бу-

душем совсем выродиться, что сам он, наконец, всем надоел, потому что везде «суется», а «настоящего» ничего сказать не может, – тогда на него вдруг нападает то храброе малодушие, которое дает человеку решимость в одну минуту плюнуть на все плоды многолетнего долготерпения. И он, сломя голову, бежит в объятия земских учреждений, мирового института, полиции и прочих, которые, по крайней мере, дают ему средства хоть оконные рамы новые сделать в расшатавшейся сверху донизу Заманиловке.

Говорят, что у культурных людей нет достаточных капиталов, которые давали бы им возможность с терпением выжидать результатов их сельскохозяйственных предприятий. Капиталов нынче, действительно, в этой среде немного, но едва ли уместно ссылаться на это обстоятельство. Во-первых, вскоре после крестьянской реформы, капиталов, благодаря выкупным свидетельствам, было более, нежели достаточно, а куда они девались? Положим, что хорошая доля их застряла в трактирах Новотроицком и Московском, но, клянусь, целая масса была ухлопана и в землю, для исполнения прихотей Бажанова и Советова. И что же из этого вышло? Во-вторых, хотя капитал и действительно полезная вещь в сельском хозяйстве, но все-таки надо знать, куда и как его употребить. Вот Энгельгардт и без капиталов достиг хороших резуль-

татов (я нимало в этом не сомневаюсь), а у культурного человека хоть и целая уйма денег на руках, да он не знает, куда ее швырнуть. Ежели он бросит ее в отходную яму – вырастут ли на дне ее розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставим Энгельгардтам доказывать, что полеводство может приносить барыши, мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократии, адвокатуры, шпицбалов и пр., будем отдыхать кийждо под смоковницей своей, с баснями Федра в руках (все как будто классицизмом припахивает). Я сам с величайшим наслаждением читаю Энгельгардта (особенно летом, в деревне), потому что никто так отчетливо не воспроизводит картину деревни, как он; но я увлекаюсь его писаниями с чисто художественной точки зрения и воздерживаюсь от всякой практической деятельности в подражание ему. Он расчищает «ляда», он сеет лен и мечтает о травосеянии, об альгаузском бычке – все это, конечно, будет ему на пользу. Я же не стану ни «ляда» расчищать, ни льна сеять, потому что в самом благоприятном случае эти занятия явятся лишь пустым препровождением времени; в неблагоприятном же случае...

Паче всего культурный человек должен избегать волнений и огорчений. Деревня нужна ему не ради перспективы копеечных прибытков, но ради восстановления подточенной зимним сезоном бодрости. Он

должен помнить, что ежели и возможны сельскохозяйственные прибитки, то они возможны, во-первых, для человека, обладающего знанием, и, во-вторых, для человека хотя и рутинера, но постоянно живущего в деревне и не видящего из нее выхода даже в земские учреждения. В большинстве случаев культурный русский человек не подходит ни под одно из этих условий. Знаний у него нет, а в деревне он хочет жить лишь тогда, когда сад его цветет и благоухает и когда в соседней роще гремит соловей. Стоит ли при такой постановке дела гнаться за каким-нибудь двугривенным, которого, вдобавок, еще и не поймаешь! Стоит ли ради этого двугривенного испытывать волнения и разочарования, которые, повторяю, никогда не кончатся, а только видоизменяются, переходят в новые формы волнений и разочарований?

Нет спора, что и в городах бывают огорчения: обойдут человека чином, проиграет он в качестве адвоката процесс или получит в танцклассе затрещину. Но огорчения эти в большинстве случаев имеют свой корректив. Обойдут чином – стоит только потрафить, пониже поклониться, и чин придет своим чередом; проиграет адвокат процесс – можно взять другой и выиграть; получит затрещину... но что такое затрещина для человека, который, быть может, понятие о танцклассе смешивает с понятием об отечестве? Словом

сказать, из всякого городского огорчения можно выйти без особенно чувствительного ущерба. Тогда как для огорчений сельскохозяйственных решительно нет выхода. Они сначала мелькают перед глазами в виде неосуществившихся двугривенных, но чуть только человек не остережется, то непременно выразятся в крупном куше, брошенном в отходную яму, на дне которой не вырастает роз.

Но, скажут мне, все эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до нас в том самом составе и в тех же размерах, в каких они представляются и ныне, то есть со всеми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, в которых растет белоус. Как же поступить с ними? Ужели ограничиться только уплатою за них земских сборов, не попытавши даже, хорош ли там вырастет лен?

Ответ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень прост. Ежели уже существует убеждение (а у человека хладнокровного, осторожно-го не может оно не существовать), что раскинутость Заманиловок служит лишь источником огорчений, то, разумеется, необходимо принять самые быстрые меры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отделаться от них непременно и безотложно, хотя бы задаром. Придет серый человек в эту самую Тараканиху, где ныне рас-

тет белоус, и прольет там свой пот. И, может быть, белоус даст место более доброкачественным злакам... А культурный человек ощутит от этого перемещения ту несомненную выгоду, что освободится от платежа земских сборов за вместилища белоуса.

Я убежден, что первое, что необходимо для культурного человека, – это сокращать и суживать границы своих земельных владений. Дача, как вместилище восстанавливающего воздуха полей, – вот все, что нужно. И притом дача не с ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всеми удобствами, которые легко могут быть созданы на деньги, предназначенные для отходной ямы. Ежели есть при даче «смеющийся» луг, – это хорошо, ежели есть роща, в которой весной поет соловей, – еще того лучше. Излучистая река, тенистые аллеи, пение соловья – вот идеалы культурного человека, но отнюдь не пажити, не леса и не так называемые уголья. Для истребления лесов существуют лесники; для пахоты, бороньбы и косьбы существует целый класс людей, именуемых земледельцами. *Suum cuique*², как говорит Гораций, а может быть, Федр или даже сам Кошанский. Культурный человек должен помнить, что он – произведение города; там он сеет и жнет, что ему сеять и жать надлежит. Оклады жалованья, пенсии, аренды, кон-

² Каждому свое (лат.)

цессии, гонорары за сводничество, полистные и построчные платы – все там. А на лето он наезжает в деревню совсем не для того, чтобы страдать ради двухгривенных, а для того, чтобы на досуге обдумать, какие предстоит принять зимой меры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но приумножить и сохранить. И пусть обдумывает. Пускай знает свой дом, свой сад, свой смеющийся луг, свою рощу. А ради сохранения сельского колорита он может завести трех-четырёх коров и успокоиться на этом. В результате он будет свободен от огорчений и никому не надоест. И серый человек, глядя на него, скажет: «Вот и видно, что настоящий барин, – живет и ничего не делает!»

Тем не менее, я не могу не сознаться, что жить в деревне и не делать деревенского дела, а только вдыхать ароматы полей, следить за полетом ласточек, читать братьев Гонкуров и упитывать себя для предстоящих зимних подвохов – ужасно совестно. Серый человек хоть и выражается об таком субъекте: вот настоящий барин! но он говорит это только до поры, до времени. Серый человек покуда еще ужасно подавлен, и вследствие этого обещание «на водку» действует на него магически. А «настоящий барин» дает на водку часто и щедро. Он охотно собирает в господской усадьбе по праздникам соседних мужиков и

баб, предоставляя им петь, плясать и величать себя, «настоящего барина», и угощает за это пивом, водкой и ломтями черного хлеба, а иногда, под веселую руку, даже бросает в толпу разъяренных баб пригоршни гривенников. Я положительно не знаю ничего паскуднее этого развлечения (им по преимуществу злоупотребляют разноплеменные хищники, отдыхающие летом в своих виллах), но серый человек еще охотно фигурирует в нем в качестве увеселителя. К чести человечества, надо думать, что наступит же, наконец, момент, когда он очнется и поймет, какой омерзительный смысл заключается в этом паскудном выражении «на водку», в котором теперь он видит нечто вроде подспорья.

Повторяю: жить в деревне только в качестве «хорошего барина» все-таки совестно, и потому я был очень обрадован, когда узнал, что у культурного русского человека, и помимо сельскохозяйственных за-тей, может существовать вполне деревенское дело, а именно: дело совета, разъяснения, просвещения и посильной помощи. Серый человек изнывает в тенетах круговой поруки – надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсем не в том заключается, чтобы изнурять, а в том, чтобы представлять очень существенные гарантии. Серый человек погибает под игом невежественности – надо пролить свет знания

в эту погибающую среду, надо стараться об рассеянии предрассудков, страхов и предубеждений. Серый человек изнемогает от нищеты, поборов, недостатка питания, тесноты жилищ – надо сделать для него доступным дешевый кредит и при этом дать последнему такое направление, чтобы помощь его была чувствительна не для одних волостных старшин, кабатчиков и мироедов, но и для массы действительно нуждающихся.

Я назвал здесь очень немного задач, но заранее соглашаюсь, что их наберутся целые массы, и притом гораздо более существенных. Сказать человеку толком, что он человек, – на одном этом предприятии может изойти кровью сердце. Дать человеку возможность различать справедливое от несправедливого – для достижения этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъяснения громадны и почти неприступны, но зато какие изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывного горения существование!

Позвольте, однако ж. Я говорю здесь совсем не о подвижничестве, а о другом. Я говорю о самых обыкновенных представителях культурной массы, о тех исчадиях городской суеты, для которых деревня составляет, наравне с экипажем, хорошим поваром и пр., одну из принадлежностей комфорта или общепризнан-

ных условий приличия – и ничего больше. Я говорю исключительно об этих людях, потому что покамест это единственный разряд культурных деятелей, состоящих «в законе», и, стало быть, единственный, которого действия и помыслы могут быть свободно исследуемы. Все остальное закрыто для нас завесой, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь в соблазн, или нечто потрясешь.

Поэтому останемся же «в законе» и будем беседовать лишь о том, что доступно нашим исследованиям.

Я охотно допускаю, что и в заурядных представителях культурной массы может зародиться жажда просветительного деревенского дела. Добрых, сострадающих и вообще порядочных людей и в этой массе найдется достаточно. Но дело в том, что по самим условиям своих жизненных преданий, обстановки, воспитания, культурный человек на этом поприще прежде всего встречается с вопросом: что скажет о моей просветительской деятельности становой (само собой разумеется, что здесь выражение «становой» употреблено не в буквальном смысле)? Я знаю, что вопрос этот смешной и что даже довольно близкие наши потомки будут удивляться самой возможности его постановки, но, тем не менее, он, несомненно, существует, и человек, «в законе состоящий», отнюдь не

может его миновать. Его постоянно тревожит мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели он и приступит на деле к выполнению своих просветительных поползновений, то или проведет их не особенно далеко (по губам помажет) или же будет приспособлять свои действия к вкусам и идеалам станового. И вот, вместо того, чтоб узнать, откуда идут на него те бичи, которые от колыбели до могилы подъедают его существование, в виде мироедов, кабатчиков, засух, градобитий, моровых поветрий и пр., серый человек услышит из уст культурного человека не особенно мудрое и не чуждое сквернословия поучение о том, что первая и главная обязанность есть исполнение приказаний, а все остальное приложится. Но ведь он и без того слышит эту проповедь ежечасно, ежеминутно и от волостного старшины, и от сотского, и даже от кабатчика. И, однако, до сих пор она не накормила его досыта, не дала ему человеческого жилища и ни на один волос не увеличила его материального и духовного благосостояния.

Положим, однако, что культурный человек настолько самолюбив, что не будет справляться со взглядами станового и захочет действовать самостоятельно, даже независимо от соображения, своевременно или преждевременно; но разве это отречение от идеалов станового не будет с его стороны только пустой фор-

мальностью? Увы! он и сам весь начинен азбучными истинами, он и сам ничего не знает, кроме произвольных, на песке построенных афоризмов прописной морали. Стало быть, ежели слова его и будут иные, то дело все-таки окажется то же.

Сверх того не надо упускать из виду, что культурному человеку, взлелеянному на лоне эстетических преданий, всегда присуща некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себе происхождение лохмотьев и бескормицы не особенно трудно, но очень трудно высидеться до той сердечной боли, которая заставляет отождествиться с мирской нуждой и нести на себе грехи мира сего. Тут и художественные инстинкты, столь могущественные в других случаях, не помогают. Или, вернее сказать, помогают наоборот, то есть вселяют инстинктивный страх и непреодолимое желание избежать зрелища нищеты. Обыкновенно это последнее желание формулируется более или менее прилично: всем, дескать, не поможешь и всей массы бедности не устранишь! Но понятно, что это – только отговорка, на которую возможен один ответ: пробуй, делай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня там, где нужен хлеб.

Может, впрочем, случиться и так, что культурный человек каким-нибудь чудом все эти препятствия устранил, то есть сумеет одновременно упразднить

и идеалы сотских и эстетику. Однако и за всем тем останется обстоятельство, которое ни под каким видом обойти нельзя. Обстоятельство это заключается в том, что главная задача его жизни совсем не в деревне, а в городе. Говоря таким образом, я во все не имею в виду посетителей шпицбалов, но и людей, действительно воодушевленных наилучшими намерениями и преследующих самые почтенные интеллектуальные цели. И для них деревня представляет только временную арену деятельности, к которой, вдобавок, они, в большинстве случаев, не имеют никакой практической подготовки. Атмосфера, которой они дышат, совсем не та, которой дышит деревня; язык, которым они говорят, не тот, которым говорит деревня; мысли, которые они мыслят, не те, которые мыслит деревня. Поэтому прежде нежели приступить к подлинному деревенскому делу, сколько нужно труда, чтоб опознаться в условиях деятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправный пункт! Но вот наконец точка опоры отыскана, а тут, как на грех, подкралась осень, и культурный человек волей-неволей обязывается оставить случайные задачи, чтобы всецело отдаться задачам коренным, а деревня остается в положении той помпадурши, которая при известии о низложении своего краткосрочного помпадура восклицала: «Глупушка! нашалил – и

уехал!»

Нет, просветительная дорога – не наша дорога. Это – дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла и, подобно раскольникам-«бегунам», идти вперед, *вышнего града взыскупа*.

Два лета кряду я живу в своем новом углу, на берегу Финского залива, почти в виду кронштадтских твердынь. Живу, руководствуясь сейчас высказанными соображениями, то есть не зная ни сельскохозяйственных затей, ни просветительных задач. В первом отношении я вполне рассчитываю на серого человека, который сам не доест, а нас не оставит без провианта; во втором полагаюсь на земские управы, которые, по соглашению с начальством, полегоньку да потихоньку, наверное, когда-нибудь устроят судьбу серого человека к беспечальному концу. Я же засел в своем углу и наслаждаюсь пальбою с кронштадтских твердынь, которая потрясает окна моего Монрепо и которая, собственно говоря, составляет единственное здесь развлечение.

Жизнь моя здесь течет в уединении и полном безмятежии. Сена – мало, жита – и того меньше; зато есть благоустроенный парк, в котором родится множество белых грибов и в котором можно гулять даже

немедленно после дождя. Сверх того, есть порядочный сосновый лес и река, на которой устроена мельница, а следовательно, существует и запруда. Одним словом, было бы даже очень хорошо, если б капельку побольше красного солнышка и поменьше ветра со стороны «хладных финских скал». Помилуйте: в целое нынешнее лето я не видел стрелку флюгера обращенной на юг, а все на север или еще того хуже – на запад, потому что ежели северный ветер приносит нам больше, чем нужно, прохлады, то западный гонит нам тучи, которым иногда по целым неделям конца не видать.

Местность, в которой расположено сказанное Монрепо, обыкновенная местность ближайших окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтоб живописная, нельзя сказать, чтоб веселая, но зато, несомненно, веселонравная. Справа у меня – деревенский поселок, при въезде в который стоит столб, и на нем значится: душ 24, дворов 10. На это не особенно громадное население существует два кабака, которые очень редко пустуют. Сверх того, с небольшим в полуверсте от меня, налево, рядом с моей границей, воздвигнут третий кабак. Вообще кабакам в этой местности посчастливилось. Когда я еду на станцию железной дороги, то на пространстве четырнадцати верст до шоссе (на котором уже начинаются высокопоставленные

дачи и, стало быть, кабаков нет) встречаю еще четыре кабака. А между тем местность эта вполне пустынная, и только в одном месте, в стороне, виднеется довольно большое село, которое, конечно, обладает своими собственными кабаками.

Население здесь смешанное. Большинство – чухны, меньшинство – не скажу, чтобы совсем русские, а скорее какая-то помесь. Чухны пьют довольно, русские – много. Сверх того здесь пролегает зимний тракт в Кронштадт, который тоже немало способствует процветанию кабаков.

Кабак – это что-то вроде установления, омерзительнее которого трудно что-нибудь себе вообразить. Вокруг кабака растет одичалое племя, которое отдаст кабатчику всю свою душу и которому положительно ни до чего нет дела. А у нас целых три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный корректив! Да и пьянство здесь какое-то необыкновенное: не шумное, не экспансивное, а сосредоточенное и унылое. Как будто исполняется горькая задача, от которой никак нельзя отбиться. Идет человек по дороге и вертит зрачками – это значит, что он еще бодрится. Прошел несколько шагов, споткнулся и уж храпит. Был у меня в прошлом году мельник из чухон, поистине честный и добропорядочный человек. Видя, что он от времени до времени вертит зрачками, я

пробовал его уговорить и, по-видимому, даже успел. Целых два месяца я видел его постоянно трезвым, но вот пришла осень, и малый не вытерпел. Осень здесь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно над кладбищем стон стоит. Одним вечером мельник урвался кратчайшим путем, по лавам, брошенным через речку, в кабак и там выполнил свою задачу серьезно и бесшумно. Возвращаясь тем же путем на мельницу, он уже не попал на лавы, а шагнул прямо в реку и утонул. Место это отстоит от мельницы в нескольких шагах, но никто не слышал криков о помощи. Вероятно, несчастный даже не понимал, что тонет, а думал, что ложится спать.

Повторяю: кабак, возведенный в принцип, омерзителен, но при этом оговариваюсь: может быть, оно так надобно. Нужно, быть может, чтоб люди вертели зрачками и не понимали, куда они ложатся, в постель или в реку. Почему так нужно – этого, конечно, мы не можем знать: не наше дело.

Благо неведущим. Знание, говорят, старит, а мы каждодчасно молодеем. «Изба моя с краю, ничего не знаю» – успокоительнее этого девиза выдумать нельзя. Особенно ежели жить с умом, то можно даже деньги при помощи этого девиза нажить. Вот, например, владелец двух кабаков, которые держат меня в осаде справа и слева, – тот только и говорит: «Не наше-

го, сударь, это ума дело». Говорит и стелет да стелет кругом паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижую, запершись в усадьбе; зажимаю нос и уши, зажмуриваю глаза и твержу: «Не наше дело! не наше дело! не наше дело!» Это – слова могущественные и отлично разбивают не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти и уже без малейшего волнения смотреть, как взад и вперед снуют подводы, нагруженные бочками, бочонками, бутылками и бутылками. О чем тут скорбеть? На что негодовать? Гораздо пристойнее видеть в этом маятном движении бочонков и бутылей только виды внутренней торговли и накопления богатств: хоть сейчас садись и пиши статистику. И статистика выйдет не бесплодная, но полная поучительных выводов, из которых можно усмотреть вполне ясно, где таятся истинные источники нашего народного веселья, нашей силы и мощи: все там, все в этих бочонках и бутылках. Недаром во время сербской войны один кабатчик-столп потчевал «гостей» водкой под названием «Патриотическая», а другой кабатчик-столп, соревнуя первому, утвердил на «выставке» бутылку с надписью «На страх врагам». И все, которые пили обе эти водки, действительно чувствовали, что им море по колено...

Да, эти «столпы» знают тайну, како соделывать лю-

дей твердыми в бедствиях, а потому им и книги в руки. Поймите, ведь это тоже своего рода культурные люди и притом не без нахальства говорящие о себе: «Мы сами оттуда, из Назарета, мы знаем!» И действительно, они знают, потому что у них нервы крепкие, взгляд острый и ум ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. Это дает им возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дело – это перервать горло.

Одного только не ведают: срастется ли раз перерванное горло, и ежели не срастется, то как с этим быть?

Не наше дело.

Продолжаю начатую материю о Монрепо. Имение это служит наглядным примером производительности культурного труда и тех выгод, которые можно из него извлечь. Некогда оно принадлежало так называемому «хозяину», и вдобавок еще инженеру, стало быть, человеку, не лишенному хотя некоторых прикладных знаний. Владелец этот, очевидно, имел намерение сделать из своего имения «золотое дно». Он положил основание господской мызе, выстроил не особенно изящный, но крепкий и поместительный дом, снабдил его службами и скотным двором, развел парк, плодovitый сад, затеял обширный огород (вероятно, хотел изумить мир капустой и огурцами), устроил мельницу,

прорезал всю дачу бесчисленными канавами, вследствие чего она получила вид шахматной доски, и заключающиеся между канавами участки земли поднял и засеял травой. Хлеба у него высевалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцелели и поныне, а в особенности по чугунным трубам, с помощью которых нагревалась сушильня и которые валяются и поднесь. Получал ли какие-нибудь доходы с этого имения заботливый хозяин-землевладелец – это неизвестно; но вероятнее всего, что не получал, а все устраивался и устраивался. Но что несомненно известно – это то, что он истратил на имение «многие тысячи». И не крепостным трудом истратил, а чистоганом, потому что крепостной труд каких-нибудь 24 душ даже заметным подспорьем не мог служить в таком значительном предприятии. Затем основатель усадьбы умер, и имение начало переходить из рук в руки, причем никто продолжительно им не владел. Последний владелец, от которого мыза наконец дошла ко мне, тоже, как говорят, потратился: усовершенствовал парк, мебелировал дом, пытался расчистить некоторые канавы и пр. Вероятно, и тут дело не обошлось без «многих тысяч». А сколько одновременно с этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслия, сколько видела эта бедная мыза претерпения и ропота, сколько

слышала она хульных слов!..

Мне она досталась с расходами по купчей крепости и с издержками по водворенью в сумме приблизительно до пятнадцати тысяч рублей. Вот чем разрешились и «многие тысячи» и многолетние претерпения. Кажется, красноречивее этого факта нельзя себе ничего вообразить.

А сколько сверх того было уплачено крепостных пошлин при переходах имения из рук в руки? сколько было рассорено денег на сводчиков и маклеров, сколько употреблено суеты и беготни при отыскивании покупателя? Этого, наверное, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Мне могут возразить, что бывшие владельцы все-таки кой-чем воспользовались, и именно лесом (нынешний лес не особенно стар, лет 30–35, не больше, а есть участки и моложе). Действительно, громадные пни, встречающиеся на каждом шагу, свидетельствуют, что лесу сведено достаточно, но, во-первых, большая его часть была, несомненно, употреблена на нужды самого имения, а, во-вторых, ежели двое-трое из кратковременных владельцев (едва ли даже они жили в имении) и урвали что-нибудь, то, право, сущую безделицу.

Люди, которым всегда «до зарезу» нужно рублей 100–200, не особенно следят за процессом их добы-

вания, лишь бы «зарез» был поскорее удовлетворен. Так было и тут, о чем даже существуют анекдоты, в которых фигурируют, с одной стороны, культурные люди, с другой – столпы, удовлетворяющие этому «зарезу» не без пользы для себя.

В настоящее время, повторяю, это уголок довольно благоустроенный, хотя и не без важных недостатков, а именно:

Недостаток первый: солнце здесь такое же скупое, как и в Петербурге. Оба проведенные мною лета были в этом смысле очень неудовлетворительны. В прошлом году залили дожди, в нынешнем – 27 июля ударил первый морозец. Можно ли ожидать в будущем лучшего лета – не знаю, потому что в Петербурге вообще имеют смутное понятие о благоращении воздуха. Были, впрочем, и для здешнего края, очевидно, лучшие времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзание которых довершилось лишь недавно. Стало быть, когда-то здесь было возможно разводить яблоки. А нынче, судя по последним двум годам, скоро и простой огурец делается оранжерейным растением.

Второй недостаток: все еще чересчур много земли (всего около 160 десятин). Конечно, большинство ее находится под лесом, но есть, к сожалению, и такие участки, которые «ах, кабы эту землю к рукам – кажет-

ся, лопатой бы деньги загребал!» Как ни велико мое воздержание от сельскохозяйственных предприятий, а все-таки нет-нет да и поддашься на льстивые речи. То канавку прочистишь, то поднимешь участок, потому что ежели совсем бросить, то земля мохом прорастет и траву косить будет негде. А сено нужно, так как на скотном дворе стоит штук до десяти травоядных.

Третий недостаток: мельница. В нынешнем году я вынужден был всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мне ровно тысячу рублей, кроме бревен, которые были выпилены из своего леса. Теперь все любят плотину и говорят: денег не пожалели, зато она у вас на двадцать лет без поправки пойдет! Но известно мне, что года три тому назад бывший владелец тоже «значительно исправил» плотину, и, вероятно, ему тоже говорили: теперь она на двадцать лет пойдет! А доход с мельницы двоякий: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходов «неслишим много»; ежели осень сухая, то в очистку приходится – нуль.

Четвертый недостаток: слишком просторен огород. Поднять его, сделать гряды и потом несколько раз в лето прополоть последние – стоит одной поденщиной, не считая постоянных мызных работников, по малой мере двести рублей. Да навозу пойдет целая

уйма, да садовнику в год надо заплатить 360 рублей. А к концу лета получаются и плоды этих затрат. Огурцы, например, «принялись было весело», но вдруг сделалось «сиверко», и в тот самый момент, когда в Петербурге вся Сенная завалена огурцами, у вас нет ничего. То же самое и с цветной капустой: в августе ее всякий столоначальник в Петербурге ест, а в Монрепо показываются в это время только зародыши, и зреет надежда, что в сентябре четыре-пять кочней выйдут «вполне». Остается, стало быть, капуста да картофель, овощи серьезные, не боящиеся непогод, но слыханное ли дело съесть этого добра на пятьсот, шестьсот рублей в год?

Одним словом, происходит нечто в высшей степени странное. Земля, мельница, огород – все, по-видимому, предназначенное самою природой для извлечения дохода – все это оказывается не только лишним, но и прямо убыточным...

Поэтому истинное пользование «своим углом» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будет ни лугов, ни лесов, ни огородов, ни мельниц. Скотный двор можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, что обойдется дешевле и притом составит расход, который заранее можно определить, а следовательно, и приготовить к нему. Можно упразднить и прислугу, а держать

только сторожа и садовника, необходимого для увеселения зрения видом расчищенных дорожек и изящно убранных цветами клумб.

Когда все это будет достигнуто, культурный человек может наслаждаться и отдыхать по всей своей воле. А ежели надоест ему отдыхать, то может и заняться тем делом, которое ему по душе.

Но какое же это дело? – вот в чем вопрос.

Странная вещь, но когда встречаешься с этим вопросом, делается не только просто совестно, но почти тоскливо-совестно.

Объяснение этой тоски, я полагаю, заключается в том, что у культурного русского человека бывают дела личные, но нет дел общих. Личные дела вообще несложны и решаются быстро, без особых головоломных дум; затем впереди остается громадный досуг, который решительно нечем наполнить. Отсюда – скука, незнание куда преклонить голову, чем занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда перед глазами постоянно мелькает пустое пространство, то делается понятным даже отчаяние.

Повторяю: в массе культурных людей есть уже достаточно личностей вполне добропорядочных, на которых насильственное бездействие лежит тяжелым ярмом и которые тем сильнее страдают, что не видят конца снедающей их тоске. Чувствовать одиночество,

сознавать себя лишним на почве общественных интересов, право, нелегко. От этого горького сознания может закружиться голова, но, сверх того, оно очень близко граничит и с полным равнодушием.

Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и искусством – для всего этого нет никакой необходимости в своем собственном угле, и в особенности на берегу Финского залива. Гораздо более удобств в этом смысле представляют Эмсы, Баден-Бадены, Трувилли, Буживали, Лозанны и пр.

Для чего культурному человеку изнывать в каких-то сумерках, лишенных света и тепла, когда те задачи, преследование которых ему доступно, он может вполне удобно переносить с собой в такие местности, в которых вдоволь и тепла и света? Для чего он будет выносить в своей Заманиловке тьмы тем всякого рода лишений и неудобств, когда при тех же материальных затратах он может «в другом месте» прожить без мучительной заботы о том, позволит ли подоспевший сенокос послать завтра в город за почтой?

Человек – животное общественное, а в Заманиловке он обязывается временно одичать; человек – животное плотоядное, а в Заманиловке он обязывается сделаться отчасти млекопитающим, отчасти травоядным. Наконец, Заманиловка заставляет его нуждаться в услугах множества лиц, что в высшей степе-

ни неприятно щекочет совесть. И к довершению всего, перед глазами – пустое пространство.

Вникните в это положение, и вы должны будете сознаться, что оно поистине мрачно. Есть натуры очень строптивные и упорнолюбящие, в которые червь равнодушия заползает лишь после долгой борьбы, но и те, в конце концов, уступают. Капля точит камень.

И вот перед этими людьми встает вопрос: искать других небес. Там они тоже будут чужие, но зато там есть настоящее солнце, есть тепло и уже решительно не нужно думать ни о сене, ни о жите, ни об огурцах. Гуляй, свободный и беспечный, по зеленым паркам и лесам, и ежели есть охота, то решай в голове судьбы человечества.

Я высказываю здесь далеко не все, что можно было бы сказать об этом предмете; я поднимаю только малейший угол завесы, скрывающей бесконечную перспективу, но уверяю, от одной мысли об этой перспективе становится неловко.

Как-то ничто не спорится нам, и каждый наш успех почему-то оказывается фиктивным. Двоегласие очевидно, и оно невольно заставляет предполагать, что рядом с успехом идет нечто такое, что тут же, сейчас же подрывает его.

В чем же, однако ж, беда? откуда она идет и почему над нами стряслась?

Но тут я должен поставить точку и закончить словами, которые покамест на всякий вопрос представляют наиболее подходящий ответ, а именно: не наше дело.

ТРЕВОГИ И РАДОСТИ В МОНРЕПО

*Мы живем среди полей
И песов дремучих...*

Нынешней осенью, живя в Монрепо, я был неожиданно взволнован: в наше село переводили станковую квартиру...

В деревне подобные известия всегда производят переполох. Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановке, но все-таки как-нибудь да живется. Это «как-нибудь» – великое дело. У меньшей братии оно выражается словами: живы – и то слава Богу! у культурных людей – сладкой уверенностью, что чаша бедствий выпита уж до дна. И вдруг: нет! имеется наготове и еще целый ушат. Как тут быть: радоваться или опасаться?

В настоящем случае поводы радоваться, несомненно, существовали. До сих пор мы жили совсем без начальства, как овцы без пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особенно нам, культурным людям, приходилось плохо. Работник загуляет или заспорит в расчете – как с ним рассудить-

ся? В лесу пропадет дерево, или в огороде срежут кочан капусты – к кому взывать об отмщении? А с мальчишками сельскими так просто сладу нет: обнеситесь от них решеткой – они под решеткой лазы сделают; обойтесь канавой – через неделю вся канава изукрасится тропами. Как тут быть? Мировой судья судит от нас в двадцати пяти верстах; становой пристав живет где-то уж совсем за болотами, так что легче в Париж съездить, чем до него добраться. Сотские – мирволят; волостной старшина – тот на все жалобы только икает: мне, дескать, до вас, культурных людей, дела нет! В виду всего этого мне и самому не раз-таки приходило в голову: вот кабы становой был поближе, тогда... Стало быть, теперь, когда желание мое было осуществлено, я имел, по-видимому, полное основание считать себя довольным и осчастливленным.

Но были поводы и для опасений, и прежде всего – неизвестность. Конечно, я имел о становом достаточно отчетливое понятие, но о становом дореформенном, которого и в глаза и за глаза называли куроцапом. В местностях, изобиловавших культурными людьми, это было существо вполне жалкое, в потертом вицмундире с дрожащими сзади фалдочками, с воспаленными от дорожной пыли глазами, с физиономией, замасленной, как блин, и не имевшей никакого иного выражения, кроме готовности во всякую мину-

ту проглотить рюмку водки. И как дополнение к нему становиха, сухая как щепка, вследствие непрерывных беременностей, но и за всем тем беременная. Такого станового, разумеется, опасаться было нечего. Но ведь с тех пор много воды утекло. Говорят, будто становым новые мундиры пошили, и с тех пор будто бы они приняли в свое заведывание основы и краугольные камни. И еще говорят, будто они, «яко боги», получили дар читать в сердцах человеческих и что вследствие сего, ежели прочтут в чьем сердце обращенное к ним слово «куроцап», то сейчас же делают соответствующее распоряжение. А, наконец, некоторые утверждают, что они самим названием «становой пристав» уже начинают тяготиться, признавая его не исчерпывающим всего содержания их деятельности, и ходатайствуют, чтобы им присвоен был такой титул, который прямо говорил бы о сердцеведении, и чтобы в сообразность с ним было, разумеется, увеличено и самое содержание. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживают вероятия, но если верно из них хоть одно то, что становым дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будет, если «он», вместо того чтобы ограждать мои луга от потравы, начнет читать в моем сердце? Прочтет одну страницу, помуслит палец, перевернет, прочтет другую и так далее до конца?

В виду этих сомнений я припоминал свое прошлое – и на всех его страницах явственно читал: куроцап! Здесь обращался к настоящему и пробовал читать, что теперь написано в моем сердце, но и здесь ничего, кроме того же самого слова, не находил! Как будто все мое мирозерцание относительно этого предмета выразилось в одном этом слове, как будто ему суждено было не только заполнить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неистребимую печать!

Я испугался. Уныло ходил я по аллеям своего парка и инстинктивно перебирал в уме названия различных более или менее отдаленных городов. Потом пошел на мельницу, но и там шум бегущей воды навеял на меня унылые мысли. «Жизнь человеческая, – думалось мне, – подобна этой воде. Сейчас мы видим ее заключенной в бассейне, а через момент она уже устремляется в пространство... куда?» Потом пошел по реке к тому месту, где вчера еще стояла полуразрушенная беседка, и, увидев, что за ночь ветер окончательно разметал ее, воскликнул: «Быть может, подобно этой беседке, и моя полуразрушенная жизнь...»

Одним словом, какая-то неопределенная тоска овладела всем моим существом. Иногда в уме моем даже мелькала кощунственная мысль: «А ведь без начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснее:

чем усерднее я гнал эту мысль от себя, тем назойливее и образнее она выступала вперед, словно дразнила: лучше! лучше! лучше! Наконец я не выдержал и отправился на село к батюшке в надежде, что он не оставит меня без утешения.

Батюшка уже был извещен о предстоящей перемене и как раз в эту минуту беседовал об этом деле с матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомневались, подобно мне, но прямо радовались, что и у нас на селе заведется свой *jeune homme*³. Так что когда я после первых приветствий неожиданно нарисовал перед ними образ станового пристава в том виде, в каком он сложился на основании моих дореформенных воспоминаний, то они даже удивились.

– Помилуйте! да вы об ком это говорите! – воскликнул батюшка, – наверное, про Савву Оглашенного (был у нас в древности такой становой, который вполне заслужил это прозвище) вспоминаете? Так это при царе Горохе было, а нынче не так! Нынешнего станового от гвардейца не отличишь – вот как я вам доложу! И мундирчик, и кепё, и бельецо! Одно слово, во всех статьях драгунский офицер!

– А какой у нашего нового станового образ мыслей! – томно присовокупила матушка, закатывая гла-

³ Молодой человек (фр.)

за.

Признаюсь, я не без волнения слушал эти похвалы, потому что они подтверждали именно то, чего я боялся. В особенности напоминание об «образе мыслей» встревожило меня.

– Говорят, будто он будет в сердцах читать? – робко спросил я. – Правда ли это?

– Всенепременно-с.

– Помилуйте! да что же он там прочтет?

– Что написано, то и прочтет. Ежели у кого написано: не похваляется – он и в ремарку так занесет; а ежели у кого в сердце видится токмо благое поспешение – он и в ремарке напишет: аттестуется с похвалой!

– Батюшка! да как же это! ведь он куроцап!

Батюшка удивленно вскинул на меня глазами и даже слегка помычал.

– Это прежде куроцапы были, а по нынешнему времени таких титулов не полагается, – холодно заметил он, – но ежели бы и доподлинно так было, то для имеющего чистое сердце все равно, кому его на рассмотрение предъявлять: и «куроцап» и «не куроцап» одинаково найдут его чистым и одобрения достойным! Вот ежели у кого в сердце свило себе гнездо злоумышление...

Батюшка остановился: он понял, что не великодушно добивать колкостями и без того уже убитого чело-

века, и с видимым участием спросил:

– Разве чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопрос этот смутил меня. И прежде не раз мелькал он передо мной, но как-то в тумане; теперь же, благодаря категорическому напоминанию батюшки, он вдруг предстал во всей своей наготе.

– Бывало... – ответил я уклончиво.

– Например?

– Да вообще... вся жизнь... Вот хоть бы «филантропии» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Как вы думаете, повредит это мне?

– Смотря по тому... Разные «филантропии» бывают: и доброкачественные и недоброкачественные. За первые – похвала, за вторые – взыскание.

– То-то и есть, что я сам своих «филантропий» не разберу. Прежде мне казалось, что они доброкачественные, а вот теперь... Например, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнейший дар творца, но она может легко перейти в анархию, ежели не обставлена в настоящем уплатой оброков, а в будущем – взносом выкупных платежей. Эту мысль я зарубил у себя на носу еще во время освобождения крестьян и, я помню, был даже готов принять за нее мученический венец. Как вы полагаете, какова эта «филантропия»? доброкачественная или недоброкачественная?

– По-моему, доброкачественная! Только вот «свобода»... Небольшое это слово, а разговору из-за него много бывает. Свобода! гм... что такое свобода?! То-то вот и есть... Не было ли и еще чего в этом роде?

– Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утерпел и за филантропию принялся. Проповедывал, что с вином следует обходиться умненько; сначала в день одну рюмку выпивать, потом две рюмки, потом стакан, до тех пор, пока долговременный опыт не покажет, что пьяному море по колено. В то время кабатчики очень на меня за эту проповедь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

– Как вам сказать? – произнес он, – большой недоброкачественности и в этом не видится, а есть, однако... Откровенно вам доложу: на вашем месте я бы кабатчиков не трогал. Почему бы не трогал? – а потому, сударь, что кабатчик по нынешнему времени есть столп. Прежде были столпы – помещики, а нынче столпы – кабатчики. Поэтому я бы и не трогал их.

– Но ведь по существу...

– По существу – это точно, что особенной вины за вами нет. Но кабатчики... И опять-таки повторяю: свобода... Какая свобода, и что оною достигается? В какой мере и на какой конец? Во благовремении или не во благовремении? Откуда и куда? Вот сколько вопро-

сов предстоит разрешить! Начни-ка их разрешать, – пожалуй, и в Сибири места не найдется! А ежели бы вы в то время вместо «свободы»-то просто сказали: улучшение, мол, быта, – и дело было бы понятное, да и вы бы на замечание не попали!

– Но кто же мог это предвидеть? Кто мог думать, что когда-нибудь становые будут читать в сердцах?

– Мудрый все предвидит. Мудрый так поступает: что ему нужно – выскажет, а себя подсидеть – не допустит. Мудрый, доложу вам, даже от слова «филантропия» воздержится, а просто скажет «благое, с дозволения начальства, поспешение» – и кончен бал!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то с участием покачал на меня головой.

– Впрочем, – продолжал он, – ежели настоящим манером разъяснить и притом с раскаянием...

– Да вы, батюшка, со становым-то знакомы? – ухватился за эту мысль я.

– Знаком достаточно. Малый отличнейший! Молодой человек, кепё и все такое... Строгонек, конечно, но... с понятием.

– Так вот бы вы... Постарайтесь уж, батюшка! ведь тут вся штука в том, чтоб дело было представлено в надлежащем виде.

К моему удовольствию, батюшка согласился на мою просьбу. Он не взялся, конечно, отстоять мою аб-

солютную правду, но обещал защитить меня от злых преувеличений, к которым, наверное, не усомнятся прибегнуть кабатчики, чтоб очернить меня перед начальством. Со своей стороны, я вспомнил, что нынешней осенью мне прислали сотню кустов какой-то неслыханной земляники, и предложил матушке в будущем году отделить несколько молодых отростков для ее огорода.

На селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались сообщить своим выставкам изящный вид. Однажды, проходя мимо меня, кабатчик Прохоров (он же по воскресеньям и праздникам открывал у себя сельский танцкласс) бойко приподнял картуз и поздравил:

– С начальством-с!

– Не боитесь?

– Напротив-с. Даже-с с надеждою ожидаем.

Я достаточно на своем веку встречал новых губернаторов и других сильных мира, но никогда у меня сердце не ныло так, как в эти дни. Почему-то мне вдруг показалось, что здесь, в этой глуши, со мной все можно сделать: посадить в холодную, выворотить наизнанку, истолочь в ступе. Разумеется, предварительно завинив в измене, что при умении бойко читать в сердцах сделать очень нетрудно. Поистине, никогда я такого скверного чувства не испытывал.

Я понимал, что я российский дворянин, но и только. Затем я искал кругом себя тына или ограды, к которым можно бы, в случае нужды, прислониться, – и не находил. Я не состоял на службе – следовательно, с этой стороны защиты не имел. Я не пользовался громким титулом – следовательно, никого не мог пугнуть высокопоставленными связями. Я не был особенно богат – следовательно, никто не надеялся, что я под веселую руку созову у себя во дворе толпу мужиков и баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых – оделю пряниками. Кроме того, я никого не ограбил, контрактов на продовольствие армии и флотов не заключал, ничьим имуществом насильственно не завладел и даже ни у кого ничего на законном основании не оттягал – следовательно, никому не внушил ни страха, ни уважения. Это было до такой степени омерзительно, что многим казалось даже странным: зачем я живу? И уже, наверное, всякому думалось: «Вот кабы на место этого расслабленного да поселился в Монрёпо лихой купчина Разуваев (мой сосед по имению), то-то бы веселье у нас пошло!» Но этого мало. Вместо того, чтобы как можно бесповоротнее позабыть, что я российский дворянин, я с удивительной назойливостью об этом помнил. Я сохранил вкус к разведению садов и парков, что уже само по себе свидетельствует о заносчи-

вости; но, сверх того, я не «якшался» и – говорят даже – выказывал склонность «задирать нос». Существовал ли этот последний факт в действительности – по совести, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вероятно, в самой моей отчужденности («неякшании») было что-нибудь такое, что давало повод обвинять меня и в «задирании носа». И, разумеется, это еще больше раздражало. «Мразь, а тоже, как мышь на крупу, надувается!» – в один голос твердили столпы-кабатчики.

Оголтелый, отживающий, больной, я сидел в своем углу, мысленно разрешая вопрос: может ли существовать положение более анафемское, нежели положение русского дворянина, который на службе не состоит, ни княжеским, ни маркизским титулом не обладает, не заставляет баб водить хороводы и, в довершение всего, не имеет достаточно денег, чтобы переселиться в город и там жить припеваючи на глазах у высшего начальства.

Я ни в земство, ни в мировой институт не попал, и не только не попал, но ни разу даже не любопытствовал, что делается на съездах. Как-то всегда мне казалось, что незачем мне там быть, что я ни курить фимиам, ни показывать кукиш в кармане, ни устраивать мосты и перевозки – одинаково неспособен, а стало быть...

Повторяю: никто не мог ясно себе представить, зачем я живу, и, вследствие этого, многие думали и думают, что я злоумышляю.

За всем тем, я не только живу, но и хочу жить и даже, мне кажется, имею на это право. Не одни умные имеют это право, но и дураки, не одни грабители, но и те, коих грабят. Пора, наконец, убедиться, что ежели отнять право на жизнь у тех, которых грабят, то, в конце концов, некого будет грабить. И тогда грабители вынуждены будут грабить друг друга, а кабатчики – самолично выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь в ожидании, что вот-вот меня нечто слопаёт. Что именно слопаёт – я даже не стараюсь догадываться, а прямо огулом думаю: «Все может слопать». Ожидание это держит меня в хроническом беспокойстве, заставляет смотреть на существование, как на что-то до крайности постылое, и все-таки не убивает во мне жажды жизни. Ах, эта проклятая жажда жизни! Каким образом она так крепко укореняется в человеке – я решительно не понимаю, но хочу жить, хочу. Все думается, что как-нибудь да вывернусь, то есть получу возможность приходить в разрушение постепенно, сам собою, в силу естественного хода вещей... (какой, однако ж, идеал!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не без сладостного трепета думается), что ко-

гда-нибудь купец Разуваев, выведенный из терпения задираньем моего носа, вдруг вынет из кармана куш и скажет: «Получай и уйди с глаз долой!» Господи! вот кабы... Как бы, однако ж, Разуваеву при этом невзначай не нагрубить – ведь он, каналья, самолюбив! Он самолюбив, и я самолюбив; он потребует, чтоб я коленцо перед ним выкинул, а я за это ему в шею! Нет уж, так и быть, вытерплю! все вытерплю, даже коленцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучив куш, уйду, уйду навсегда! поселюсь в городе, запишусь членом в клуб и буду каждый вечер забавляться в табельку по четверти копейки за пункт.

Весь преданный тревоге в ожидании начальства, я невольно спрашивал себя: «Почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомневался в себе, а *теперь* – *сомневаюсь!* почему я *прежде* не предполагал, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь* – не только предполагаю, но и всечасно того ожидаю?» И, по зрелом размышлении, должен был дать такой ответ: «Потому что прежде не было разделения людей на благонамеренных и неблагонамеренных, на благонадежных и неблагонадежных».

Понятий таких не было, а потому и лиц, которым удобно было бы взвалить на плечи качества, соединенные с этими понятиями, не существовало. Была

одна маршировка.

Никто не мог себе представить, чтобы на всем лице российской империи нашелся человек, которому можно было бы сознательно присвоить титул неблагонамеренного или политически неблагонадежного лица. Не упоминалось ни об основах, ни о краеугольных камнях, а следовательно, не могло быть речи ни о подкапываниях, ни о потрясениях. Все так естественно стояло на своем месте, что никому не приходило даже в голову любопытствовать, что тут такое стоит. Не было повода любопытствовать, да и прихотливых людей почти совсем не существовало. Всякий проходил мимо самых несомненных краеугольных камней точно так же бездумно, как бездумно проходит любой маленький чиновник свой ежедневный крестный путь от Песков до Главного Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой он проходил вчера, существует и ныне, и что она, по вчерашнему же, с обеих сторон ограничена домами, – стало быть, нет резона не существовать ей и завтра, и послезавтра, и так далее без конца.

Бывали, правда, и в то время казнокрады, вымогатели, взяточники; бывали даже люди, позволявшие себе носить волосы более длинные, чем нужно. Но это были лишь отдельные разновидности одной и той же семьи, существование которых не компромети-

вало ни основ, ни краеугольных камней. Или, лучше сказать, это были случайные носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежит, ежели не умели хоронить концы в воду. Ты казнокрад – шествуй в Сибирь; ты отрастил гриву – садись на гауптвахту. Но о краеугольных камнях не упоминалось, обобщений не делалось, и стремления группировать людей на какие-то мнимые сословия («охранителей» и «прогрессистов», как некогда выразился академик Безобразов) – не существовало.

Понятно, что при такой простоте воззрений за глаза достаточно было и куроцапов, чтобы удовлетворять всем потребностям благоустройства и благочиния. В их ведении была маршировка, а так как в то время все было так подстроено, что всякий маршировал сам собой, то куроцапы не суетились, не нюхали, но просто взимали дани, а в прочее время пили без просыпу.

Но по мере нашего социального и интеллектуального развития, глаза наши все больше и больше раскрывались. И, наконец, раскрылись до того широко, что мы всю Россию поделили на два лагеря: в одном – благонамеренные и благонадежные, в другом – неблагонамеренные и неблагонадежные. А так как это деление последовало не на основании твердых фактических исследований, а просто явилось ответом на требование темперамента, взбудораженного преиму-

щественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первых же порах произошла путаница.

Наружных признаков, при помощи которых можно было бы сразу отличить благонамеренного от неблагонамеренного, нет; ожидать поступков – и мешкотно, и скучно. А между тем взбудораженный темперамент не дает ни отдыха, ни срока и все подсказывает: ищи! Пришлось сказать себе, что в этой крайности имеется один только способ выйти из затруднения – это сердцеведение.

Явился запрос на сердцеведение – явились и сердцеведы. Мало того, явились и помощники сердцеведов из числа охочих людей: публицисты, кабатчики, мелкие торгаши, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснил себе очень хорошо, но, к сожалению, никакой пользы от этих разъяснений для себя не извлек. Главное, у меня не было уверенности, что я сам-то благонамеренный. То есть я-то, собственно, очень твердо понимал себя таковым, но не знал, как оно выйдет перед судом сердцеведения.

Что я имел повод питать в этом отношении сомнения – в этом убеждал меня батюшка. Даже и он отозвался обо мне как-то надвое. Сначала сказал: доброкачественно, а потом присовокупил: только вот «свобода»... Только? И это, так сказать, с первого взгля-

да, а что же будет, если поискать вплотную? Да, «мудрый» так не поведет дела, как я его вел! «мудрый» покажет, что нужно, – и сейчас в кусты! А я? Впрочем, что же я, в самом деле, такое сделал?

И ничего и очень много – как посмотреть! И пятнадцать лет тому назад и как-будто только вчера – тоже как посмотреть. Тысяча лет яко день един – для таких проказ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода»! – право, даже смешно! Как это язык у меня повернулся? как он не отсох! А главное, как мне не пришло в голову заменить «свободу» улучшением быта? А теперь расплачивайся!

И вот, несмотря на обнадеживания батюшки, я беспокойно скитался по аллеям своего парка и сравнивал. Сравнивал прошедшее с настоящим, маршруровку с сердцеведением. И дошел, наконец, до такого абсурда, что склонился на сторону маршруровки...

Наконец однажды поздно вечером ко мне на мызу прибежал батюшка и возвестил: «Приехал!»

Явился вопрос об этикете: кому сделать первый шаг к сближению? И у той и у другой стороны права были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское прошлое, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно в готовности во всякое время следовать, куда глаза глядят. У «него», напротив, богатое настоящее (всемогущество, сердцеведение и

пр.), но зато прошлое резюмировалось в одном слове: куроцап! Надо было устроить дело так, чтобы никому самолюбию не было нанесено обиды.

По всестороннем обсуждении мы остановились на следующем плане. И я и «он» сойдемся в доме бабушки. Завтра, в одиннадцать часов утра, я, *как будто гуляя*, зайду к бабушке, а в то же самое время, и «он», *как будто гуляя*, придет туда же. И, таким образом, произойдет приятный сюрприз.

Все именно так и случилось: без шума, без пререканий, легко, приятно. Бабушка был прав: наш становой не только не напоминал собой Савву Оглашенного, но даже и на станового почти совсем не походил. Это был человек лет тридцати, сухощавый, легкий на ногу, с манерами настолько добропорядочными, что, казалось, он даже понятия не имел о сквернословии. Мундирчик (совсем неожиданного для меня покроя) сидел на нем как вылитый, делая на талии ловкий перехват; мне показалось даже, что он стукнул шпорами, когда я вошел. По-французски он не говорил, но некоторые русские слова произносил в нос и этим вводил в заблуждение. Сверх того, он помадил волосы и, что всего трогательнее, назывался Милием Васильичем Грациановым.

Отнесся он ко мне отлично; выразился, что давно искал случая со мной познакомиться, и хотя условно,

но все-таки признал за мной некоторые литературные заслуги. Но при этом, разумеется, слегка пожурил за то, что я в первое время моей литературной деятельности слишком обобщал понятие о куроцапстве и даже приписывал ему какое-то почти должностное значение.

– Быть может, и в настоящую минуту, видя меня, вы мысленно восклицаете: вот куроцап! – прибавил он, словно угадывая, что происходило в глубинах моего сердца.

Это было не в бровь, а прямо в глаз, так что если бы он вздумал дать своему вопросу дальнейшее развитие, то я, наверное бы, во всем сознался. Но он очень мило скользнул по моей душевной ране и перешел к другим предметам. Чрезвычайно умно и тонко отозвался о распоряжениях губернского начальства, но не раболепствовал заочно, а, напротив, заявил, что само начальство «от нас» раболепства не требует. Сообщил, что, по инициативе исправника, становые раз в месяц собираются в уездный город для обмена мыслями. На собраниях этих, разумеется, прежде всего читаются указы и предписания и обсуждаются меры к быстрому, точному и единообразному их выполнению, но, кроме того, возбуждаются и некоторые теоретические вопросы. Так, например, на последнем съезде рассуждалось о том, что могут означать слова

закона: «со скоростью и строгостью», и было решено, что это значит: немедленно и не послабляючи. На будущем же съезде предполагают прочитать реферат о том, как следует понимать выражение: «по точному его разумению».

– Вообще я полагаю так: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла, – прибавил он, – и в этом именно заключается отличие нынешней становой системы от прежней. Свободы больше! свободы! Чтоб руки не были связаны! чтоб для мероприятий было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

Разумеется, я только качал головою и моргал глазами в знак единомыслия, хотя, признаюсь, когда он, подобно народному трибуну, восклицал: «Свободы больше! свободы!» – я так и думал, что голос его дрогнет. Однако, он не только произнес эти слова совершенно безбоязненно, но как ни в чем не бывало продолжал свою *profession de foi*⁴. Заявил, что читает «Правительственный Вестник», как роман, и в восторге от «Сенатских Ведомостей» («только надо уметь владеть этим орудием», – сказал он), и затем несколько неожиданно перешел к перечислению своих губернских начальников и при каждом имени незаметно, но, несомненно, привставал на стуле, побуждая и нас делать подобное же движение. Потом

⁴ Исповедание веры (фр.)

опять перешел к своему личному положению и отозвался, что хотя он и маленький человек в служебной иерархии, но что и на маленьком месте можно небольшую пользу государству принести, как это уже и предусмотрено мудрой русской пословицей, гласящей: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Что нынче, впрочем, различие между малыми и большими должностями мало-помалу стирается и все начинают уже понимать, что, в сущности, и большие чины и малые – все составляют одну семью.

– Конечно, куда это еще идеал, – прибавил он скромно, – но первые шаги к осуществлению его уже сделаны. Не далее как неделю тому назад, встретил я на станции действительного статского советника Фарафонтьева, который прямо сказал мне: «Ты, брат, не смущайся тем, что ты только становой! все мы под Богом ходим!»

Высказавши все это, он умолк, и батюшка мигнул мне, что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но так как в выслушанной мною исповеди заключалось еще несколько не совсем ясных для меня пунктов, то я и решился предварительно предложить некоторые вопросы.

– Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной становой системы, – сказал я. – Откровенное отношение к начальству; быстрое, точное

и притом однообразное выполнение предписаний; разъяснение недоумений, возбуждаемых выражениями вроде: «по точному оного разумению», стремление к расширению свободы мероприятий – это картина, несомненно, грандиозная, достойная кисти великого художника. Тем не менее, это все-таки только идеалы или, лучше сказать, светочи, освещающие становой путь... К сожалению, на этом пути встречаются обыватели, для которых, собственно, эти идеалы и сочиняются. А так как к числу обывателей принадлежу и я, то, естественно, меня должно интересовать, как относится становая практика к этим бедным людям, которые, нередко сами того не сознавая, могут представлять весьма серьезные преткновения для самых непоколебимых становых идеалов? Чего требуете вы от них?

– Что касается до меня, – ответил он, – то я понимаю свои обязанности к обывателям так: во-первых, образовать в среде управляемых мною верных исполнителей предначертаний и, во-вторых, – укоренить в них любовь к труду. Только и всего.

– Понимаю. Такова, бесспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядом с нею, к сожалению, мы провидим и сторону пресекательную. Встречаются, по временам, субъекты, которые намеренно... а впрочем, большею частью ненамеренно...

ускользают от воспитательного воздействия и, разумеется, навлекают этим на себя гнев... Каким образом, то есть с какою степенью строгости предполагаете вы поступать относительно них?

Он на мгновение вперил в меня испытующий взор, но, не желая, вероятно, для первого знакомства подвергать меня взысканию, ответил сурово:

– Я полагаю сих вредных членов отсекать-с.

– Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтоб отсечь как следует, необходимо предварительно их уличить...

– Сумеет и это-с.

– Стало быть, вы будете ожидать поступков?

– Не думаю-с.

– Будете читать в сердцах?

– Всенепременно-с.

Тогда произошло во мне нечто чудное и торжественное: я вдруг почувствовал, что все мое существо сладко заволновалось! Я не скажу, чтоб это было раскаяние – нет, не оно! – а скорее всего какое-то безграничное, неудержимое, почти детское доверие! Приди и виждь!

– В таком случае, позвольте мне предъявить вам мое сердце! – воскликнул я, устремляясь вперед и чуть не захлебываясь от наплыва чувств.

Я высказал это так искренно, что батюшка несколь-

ко раз сряду одобрительно кивнул мне головою, а у матушки даже дрогнули на глазах слезы. Он сам не выдержал, взял меня за руку и, ничего еще не видя, крепко сжал ее.

– Прежде всего, – продолжал я, – сознаюсь в ниже-следующем. Пятнадцать лет тому назад я занимался «благими поспешениями» и при этом неподлежательно и дерзостно призывал меньшую братию к общению...

– Почему же «неподлежательно»? – перебил он меня мягко и как бы успокаивая. – По-моему, и «общение»... почему же и к нему не прибегнуть, ежели оно, так сказать... И меньшего брата можно приласкать... Ну а надоел – не прогневайся! Вообще, я могу вас успокоить, что нынче слов не боятся. Даже сквернословие, доложу вам, – и то не признается вредным, ежели оно выражено в приличной и почтительной форме. Дело не в словах, собственно, а в тайных намерениях и помышлениях, которые слова за собою скрывают.

– Вы слишком добры, – ответил я. – Я сам прежде так думал, но ныне рассудил, что даже такое выражение, как «кимвал бряцающий», – и то может быть употребляемо лишь в крайних случаях и с такою притом осмотрительностью, дабы не вводить в соблазн! Вот каков мой нынешний образ мыслей!

– Вообще – это правило, конечно, заслуживает полного одобрения, но в частности я нахожу, что и в похвальных чувствах необходимо соблюдать известную сдержанность и не утаивать от начальства выражений, сокрытие которых, с одной стороны, могло бы поставить его в недоумение, а с другой – свидетельствовало бы о недостатке к нему доверия. Например, вы сказали сейчас: «кимвал бряцающий» – какое это прекрасное выражение! а между тем благодаря недостатку откровенности очень может быть, что оно начальству даже и теперь неизвестно! А впрочем, повторяю: все зависит от того, в чем заключались ваши филантропические затеи. Прошу продолжать – я весь внимание.

– Во-первых, я, ничего не понимая и без всякого на то уполномочия, ежечасно, ежеминутно болтал о свободе...

– О свободе-с? зачем-с? – переспросил он меня несколько удивленно, но, впрочем, и на этот раз, ради первого знакомства, удержался от взыскания.

– Да, о свободе. И это происходило как раз во время крестьянской эмансипации. При сем я, однако ж, при-сокуплял, что истинная свобода должна быть ограничена: в настоящем – уплатой оброков, а в будущем – взносом выкупных платежей. И что ежели все это не будет выполняемо своевременно и бездоимочно, то

свобода перейдет в анархию, а анархия – в военную экзекуцию.

– Что ж! по-моему, это толкование «свободы» правильное, и я думаю, что его приличнее назвать даже «содействием»... Со своей стороны, я готов доложить господину исправнику...

– Не в том дело. Я и сам знаю, что лучше этого толкования желать нельзя! Но... «свобода»! вот в чем вопрос! Какое основание имел я (не будучи развращен до мозга костей) прибегать к этому слову, коль скоро есть выражение, вполне его заменяющее, а именно: улучшение быта?

– «Улучшение быта»? – вопросительно повторил он и затем ласково посмотрел на меня и махнул рукой, как бы говоря: твоя наивность приводит меня в восхищение! – Продолжайте, пожалуйста! – предложил он.

– И еще я, тоже не понимая, утверждал, что необходимо дать делу такое направление, чтобы, с одной стороны, крестьянин сейчас же почувствовал, а с другой – помещик сколь возможно меньше ощутил.

– Ну, так что же-с? – перебил он, уже совсем изумляясь.

– Извините меня, но *теперь* я совсем не так думаю. Теперь, напротив, я убежден, что необходимо так действовать, чтобы ни крестьянин, ни помещик – никто ничего не почувствовал и не ощутил! вот мой образ

мыслей – *теперь!*

Он на минуту сделался серьезен; потом протянул мне руку и сказал:

– Вы правы. Вы угадали мою мысль.

– Очень счастлив. Но ежели за мои тогдашние за-
теи мне суждено отвечать по всей строгости за-
конов, то могу ли я, по крайней мере, надеяться, что
настоящая перемена в моем образе мыслей будет
принята во внимание?

– Ежели это перемена искренняя, то несомненно
будет. В этом я вам ручаюсь! я доложу и даже, в слу-
чае надобности... Но продолжайте, прошу вас.

– И еще я утверждал, что необходимо поднять дух
обывателей...

– Зачем-с?

– Затем, во-первых, дабы соделать этот дух способ-
ным к восприятию начальственных мероприятий, и,
во-вторых, затем, чтобы, закалив оный, сообщить ему
ту непоколебимость, которая необходима в видах пе-
ренесения бедствий.

– Вы и теперь настаиваете на этой мысли? – спро-
сил он, как бы опечаленный неожиданным открытием,
которое в ближайшем будущем, быть может, поставит
его в необходимость действовать относительно меня
со скоростью и строгостью.

– Нет, не настаиваю, – отвечал я. – Ах, да и могу ли

я на чем-нибудь настаивать! Что мы такое? Временные путники в этой юдоли – и больше ничего! Нет, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предмет этот и теперь не настолько для меня ясен, чтобы я не нуждался в начальственных указаниях. Вот об этих-то указаниях я и прошу вас, причем, конечно, заранее даю обязательство, что с полным доверием подчинюсь всякому решению, которое вам угодно будет произнести.

– В таком случае скажу вам следующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намерения ваши не были вполне противозаконны, но, знаете ли, само слово «поднять»... «Поднять» всяко можно... понимаете: поднять! Нет уж пожалуйста! пускай это праздное слово не омрачает воспоминания о светлых минутах, которые мы провели при первом знакомстве с вами! Выкиньте его из головы!

– Выкину и никогда к нему не возвращусь!

– И с Богом. Дальше-с.

– И еще я утверждал – это происходило, когда объявили свободу вину, – что с полугаром надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо с целого штофа, но постепенно готовить себя к оному, сначала выпивая рюмку, потом две рюмки, потом стакан и т. д. Не смею скрыть, что этой филантропической выдумкой я возбудил против себя неудовольствие всех

господ кабатчиков.

– Гм... кабатчиков... Это, я вам доложу, серьезно!

– Неужели даже серьезнее, нежели...

– Да-с, серьезнее. Не думайте, однако ж, чтоб я покровительствовал пьяницам, – нет, я им не потатчик! Но кабатчики – это совсем другое дело! Вы, господа обыватели, смотрите на вещи с точки зрения слишком исключительной: вы моралисты и ничего больше. Мы, становые, поставлены в этом случае в положение более благоприятное: мы относимся к явлениям с точки зрения государственной. Но, сверх того, мы имеем и некоторые особливые указания. Поэтому вы можете смело поверить мне на слово, если я вам скажу: не раздражайте! не раздражайте господ кабатчиков, ибо в настоящее время на них покоятся все наши упования!

– Вот и я им тоже говорил, что раздражать не следует, – откликнулся со своей стороны батюшка.

– Не раздражайте! – продолжал Грацианов, постепенно возвышая голос, – потому что даже я не могу поручиться, к каким последствиям может привести подобный необдуманый образ действия. Не раздражайте, потому что, наконец, я не имею права потерпеть, чтобы в районе моего ведомства кто бы то ни было потрясал силу и авторитет патента! И не потерплю-с.

Он не выдержал и, подняв вверх указательный палец, слегка помахал им около моего носа.

– Надеюсь, что вы раскаиваетесь? – продолжал он, несколько понизив тон, но все еще строго.

– Раскаиваюсь, – ответил я, – но боюсь, что репутация моя в глазах господ кабатчиков настолько уже подорвана, что самое раскаяние мое...

– Это я берусь устроить, – сказал он уже совсем снисходительно, – нас, представителей правящих классов общества, так немного в этой глуши, что мы должны дорожить друг другом. Мы будем собираться и проводить вместе время – и тогда сближение совершится само собою. Ну, а затем-с... Не знаете ли вы и еще чего-нибудь за собою?

– Кажется, все. Но, впрочем, если бы что-нибудь умалил или совсем из вида упустил, то заранее каюсь: во всем, во всем грешен.

– А я – заранее разрешаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже осмелился прямо поставить вопрос так:

– Стало быть, я могу надеяться, что жизнь моя не будет неожиданным образом прервана?

Он подумал немного, но затем твердым и решительным голосом сказал:

– Можете!

Это было даже более, нежели я желал. После того

разговор уже продолжался только для проформы.

В заключение он крепко пожал мою руку и даже чуть-чуть не поцеловал меня. Но, поколебавшись с минуту, казалось, сообразил, что еще недостаточно испытал меня, и потому отложил выполнение этого обряда до более благоприятного времени.

– А теперь, прощайте, господа! – сказал он, вставая, – и да хранит вас Бог. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрения на предстоящие мне обязанности, так же как и на ту роль, которая отведена в этих воззрениях обывателям вверенного мне стана, то прошу пожаловать завтра, в девять часов утра, в становую квартиру. У меня будет прием урядников.

Разумеется, мы с радостью согласились и затем вместе с батюшкой проводили его до квартиры. Я чувствовал, что с моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепал по грязи. Мысль, что наш путь лежит мимо кабака купца Прохорова и что последний увидит нас дружески беседующими, производила во мне нечто вроде сладкого опьянения. Наконец, я не выдержал, и из глубины души моей вылетел вопрос:

– Милый Васильич! да скажите же, наконец, в каком заведении вы получили воспитание?

На что он скромно ответил:

– Я получил воспитание очень недостаточное, и

именно в училище для детей канцелярских служителей. Но, по выпуске из оногo, я поступил в губернаторскую канцелярию и там, видя ежедневно чиновников особых поручений его превосходительства, сумел воспользоваться этим, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вот, как видите... Что же касается до моих воззрений на жизнь и мир, то я почерпал их из предписаний и циркуляров моего начальства.

– Не может быть! извините меня, но, право, глядя на вас, я думал: наверное, он получил воспитание... ну, по малой мере, в заведении Марцинкевича!

Он выслушал это предположение с удовольствием; но при этом очень мило погрозил мне пальцем, как бы говоря: льстец!

Вот речь, которую он произнес в нашем присутствии урядникам, собравшимся на другой день утром на дворе становой квартиры:

«Господа урядники! я собрал вас здесь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышание, что горжусь вами. Причем, конечно, ожидаю, что и вы, в свою очередь, будете мною гордиться.

Только взаимное и непрерывное горжение друг другом может облагородить нас в собственных глазах наших; только оно может сообщить соответствующий блеск нашим действиям и распоряжениям. Видя, что мы гордимся друг другом, и обыватели начнут гор-

даться нами, а со временем, быть может, перенесут эту гордость и на самих себя. Ибо ничто так не возвышает дух обывателей, как вид гордящихся друг другом начальников!

В этом заключается весь секрет истории!

Затем я считаю нелишним изложить перед вами вкратце мой взгляд на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно.

Во-первых, вы должны знать *все*, что делается в ваших сотнях, потому что, только зная *все*, вы получите возможность обо *всем* доводить до моего сведения. Я же обязан знать *все*, потому что, в противном случае, многое осталось бы мне неизвестным, чего я ни под каким видом допустить не могу.

Чтобы знать *все*, нет никакой необходимости во вмешательстве каких-либо сверхъестественных или волшебных сил. Достаточно иметь острый слух, восприимчивый не менее острым зрением, – и ничего больше. В Западной Европе давно уже с успехом пользуются этими драгоценными орудиями, а по примеру Европы, и в Америке. У нас же, при чрезвычайной простоте устройства наших жилищ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы.

Но там, где слух и зрение оказались бы недостаточными, немаловажным подспорьем может послужить целесообразная и строго обдуманная система вопро-

сов, которую я назвал бы системой вопрошения. Так, например, ежели вы встречаете идущего по улице односельца, то первый и самый естественный вопрос должен быть таков: куда идешь? Если же вы встречаете на улице не односельца, но лицо неизвестного происхождения, то, кроме этого вопроса, надлежит предлагать еще следующее: откуда? зачем? где был вчера? покажи, что несешь? кто в твоей местности сотский, староста, старшина, господин становой пристав? И заметьте, господа, никто не вправе уклоняться от ответов на ваши вопросы, ибо факт уклонения уже сам по себе составляет неповиновение властям. Но, кроме того, он означает и косвенное признание не вполне чистых намерений уклоняющегося. Невинный человек отвечает немедленно, не ожидая подзатыльника; отвечает быстро, порывисто, отчетливо, твердо, звонко. Напротив того, человек, за которым водятся грешки, даже и по получении подзатыльника путается, отвечает уклончиво, неохотно, а иногда прямо с дерзостью говорит: не твое дело! Таковых надлежит, без потери времени, взяв за караул, представлять по начальству, для исследования.

Господа! я не без намерения остановился на этом предмете больше чем нужно, ибо он есть фундамент, на котором зиждется наша становая внутренняя политика. С помощью системы вопрошения, а также при

посредстве слуха и зрения... а быть может, и обоняния... мы получаем такой богатый запас сведений и материалов, который стоит только надлежащим образом обработать, чтобы перед нами предстала картина современного быта, такая картина, которая заставит содрогнуться начальственные сердца. Итак, сначала напишем эту картину – и чем смелее, тем лучше, – а затем, разумеется, подумаем и о том, как следует поступить, дабы превратить ее неблагонамеренное содержание в благонамеренное. Имея ее в виду, мы бодро пойдем навстречу злоумышлению, и ежели находящаяся в наших руках ариаднина нить приведет нас к дверям логовища, то уж, конечно, не для того, чтоб осрамиться в нем, но для того, чтобы несомненно и неминуемо обрести поличное!

Вторая ваша обязанность заключается в следующем: вы должны употребить все усилия, чтобы обыватели содействовали вам. Чтобы достичь этого, вы можете воспользоваться всеми имеющимися у вас преимуществами власти, начиная с увещаний и кончая требованиями, не терпящими возражений. Вы можете, в случае надобности, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содействие, о котором я говорю, нам безусловно необходимо. Как это ни больно для нашего самолюбия, но должно сознаться, что если мы не будем иметь приспешников в обывательской

среде, то не исполним и малой доли тех задач, кои нам предстоят. Это одна из тех печальных истин, с которыми мы сразу должны примириться, с тем, чтобы потом и не возвращаться к ним. Но, называя этот факт печальным, я в то же время имею право назвать его и радостным, потому, во-первых, что он вводит нас в общение с обывателем, а во-вторых, и потому, что делает сего последнего нашим соучастником. Я согласен, что он умаляет тот ореол всемогущества, которым мы были бы окружены, если бы обладали таковым, но вместе с тем он ограждает нас от злоречия и гласит во всеуслышание о чистоте наших намерений. И вдобавок дает нам случай делать полезные наблюдения и над самими содействующими.

Но содействие, о котором идет речь, может быть троякого рода. Во-первых, содействие действительное, плодоносящее и, безусловно, полезное; во-вторых, содействие не особенно полезное, но и не вредное; и, в-третьих, содействие положительно вредное.

Действительно и истинно плодотворного содействия вы можете ожидать, по преимуществу, от господ кабатчиков. Я говорю это прямо и смело, хотя и знаю, что у нас принято называть это занятие зазорным. Я не разделяю этого предубеждения и, следовательно, не могу допустить, чтобы его разделяли и вы. На свете нет зазорных ремесел, ибо всякое ремесло вызывает-

ся насущной потребностью в нем. Господа кабатчики, независимо от их личной и всегда несомненной благонадежности, драгоценны еще и в том отношении, что они находятся в непрерывном и тесном общении с представителями самых разнообразных слоев общества. В кабак стремятся все. Туда идет и добродетельный человек, и злодей, и мирный земледелец, и храбрый воин, и помещик, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человек делается наклонным к общительности, а выпивши две таковых, он уже мало-помалу начинает давать этой наклонности и ход. Еще стакан – и он готов. Спрашиваю вас: кто из присутствующих при этих метаморфозах может быть назван достоверным их свидетелем? – и с уверенностью отвечаю: кабатчик, кабатчик и только кабатчик! Все кругом пьяно, даже сотский, скромно тут же сидящий, не всегда находится на высоте своего призвания; один кабатчик всегда и неизменно трезв. Он трезв, потому что должен удовлетворять разнообразным требованиям потребителей; он трезв, потому что такова задача его занятия. Одним словом, он трезв. Он один имеет возможность трезвенно проникать в глубины человеческих сердец, он один твердой рукой держит все нити злоумышления как приведенных уже в исполнение, так и проектируемых в ближайшем будущем. Вот почему мы так часто находим в кабаках целые склады

краденых вещей. Но потому же самому мы обязаны от времени до времени прощать кабатчику его поползновения к сбыту таковых вещей и видеть в нем дарованное нам орудие, которое, при добром руководителстве, может не только облегчить наш труд неожиданными откровениями, но и сообщить изысканиям нашим совершенно непредвиденное направление.

Не особенно полезного, однако ж и не вредного содействия вы можете ожидать от господ бывших помещиков, ныне скромно именующих себя землевладельцами. Сведения, добываемые этим путем, представляют, по преимуществу, плод досужей говорливости и потому должны быть принимаемы лишь с крайней разборчивостью. Но, будучи очищены от того, что в них есть неожиданного и явно невероятного, и они могут, по временам, проливать луч света на такие извилины человеческого сердца, которые без сего легкомысленного указания могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего наблюдения.

Затем остается еще третьего рода содействие, о котором я говорю лишь с болью на сердце и которое я уже ранее назвал прямо вредным. Господа! я не нахожу достаточно слов, чтобы предостеречь вас от услуг и предложений сих содействователей, и, дабы вы умели отличить их, скажу вкратце об их происхождении. В последние пятнадцать-двадцать лет, вме-

сте с успехами наук и развитием форм общежития, у нас появился особенный класс злонамеренных людей, известных под именем газетчиков и сочинителей. Профессия эта, главным образом, направлена к тому, чтобы разнообразными путями вводить станковых приставов в заблуждение, с целью испытания их способностей, а также и для осмеяния их нравов вообще. Люди эти, иногда очень серьезно, сообщают нам различные как бы полезные указания и даже предлагают проекты реформ и законоположений, которые мы тоже, по чистоте нашей, принимаем за полезные, но на дне которых – увы! – лежит одна жестокая насмешка. В большей части случаев они действуют на нас не прямо, а посредством опубликования аллегорий, но тем успешнее увлекают в соблазн и опутывают нас своими сетями. Есть множество сочинений, написанных единственно с целью обмана, но притом с таким сатанинским искусством, что чины, действующие вдали от административных центров и, так сказать, предоставленные самим себе, ничего не в состоянии различить. Увлекаясь прекрасным слогом сих книг, они с точностью следуют злодейским советам, в них изложенным, и ожидают за сие от начальства наград. Каково же бывает их горестное изумление, когда, вместо награды, из губернии получается перевод в другой стан, а иногда и предложение по-

дать просьбу об отставке! К сожалению, я говорю об этом по опыту, ибо сам двукратно был вводим подобным образом в заблуждение. Однажды, когда, прочитав в одном сочинении составленный якобы некоторым городничим „Устав о печении пирогов“, я, в подражание оному, написал „Правила о том, в какие дни и с каким маслом надлежит вкушать блины“, и в другой раз, когда, прочитав, как один городничий на все представления единообразно отвечал: „не потерплю!“ и „разорю!“ – я, взяв оного за образец, тоже упразднил словесные изъяснения и заменил оные звукоподражательностью. И в оба раза, вместо награды, я получил от начальства выговор, с таковым притом внушением, что книжками этого рода следует пользоваться лишь для того, чтобы поступать как раз в противоположность содержащимся в них указаниям! Вот почему я и предостерегаю вас, господа урядники! Будьте вообще осторожны в выборе ваших руководителей, но в особенности опасайтесь лстивых сочинительских приманок, погоня за коими может ревностного урядника довести до исступления! Третья ваша обязанность заключается в наблюдении за целостью и неприкосновенностью наших краеугольных камней. Вы знаете, о чем я говорю. Многие утверждают, что камни сии суть лишь недавнее изобретение станových приставов, но ведь для нас важно не то, когда и

кем что изобретено, а то, что изобретенное получило надлежащий ход и что, следовательно, сила его для всех обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имеете семейства, чтите начальство, ходите в храм Божий, так что если б вы не были урядниками, то я сказал бы вам: идите, добрые люди, с миром, и Бог да поддержит вас в ваших похвальных начинаниях! Но, в качестве урядников, вы не имеете права довольствоваться личным выполнением предписаний долга, но обязываетесь требовать, чтоб и другие с тою же мужественной непоколебимостью шли по стезе добродетели. Поэтому я приглашаю вас, а в крайнем случае даже приказываю, действовать в этом смысле с неукоснительностью и неуклонностью. Само собою, однако ж, разумеется, что если бы в районе ваших действий находились лица, не имеющие собственности, то нет нужды заставляя их приобретать земли или дома, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взамен обладания собственностью, утешали себя уважением таковой.

В-четвертых, я желал бы, чтоб вы как можно деятельнее сносились между собой и сообщали друг другу результаты ваших личных наблюдений. А еще лучше бы, если бы вы, хотя раз в месяц, собирались здесь, у меня, для совместного обсуждения возника-

ющих в вашей практике вопросов и для получения от меня обязательных для вас разрешений и наставлений. Господа! я сам ничего больше как первый урядник вверенного мне стана, и хотя в качестве станового пристава стою во главе вашей дружины, но пользуюсь моим титулом лишь для того, чтобы, подобно недавно встретившемуся со мной на станции генералу Фарафонтьеву, объявить вам: и я и вы – одна семья! Все мы под Богом ходим, все тщетно спрашиваем себя: что сей сон значит? Будем же действовать единодушно и единомысленно! и встанем грудью против общего врага!

За сим, что касается до прочих обывателей, то прошу вас дать мне время осмотреться, прежде нежели я решу, как с ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели благонамеренные и есть неблагонамеренные, есть благонадежные и есть неблагонадежные. Подобно тому, как и государства: бывают государства благоустроенные, но бывают и совсем расстроенные. Все это, конечно, выяснится по мере ознакомления моего со здешнею местностью; а до тех пор предлагаю вам одно: действуйте неукоснительно, но приберегите решительный натиск, покуда я, обнажив меч, не встану перед вами с кличем: горе строптивым!

Вот все, что я имел вам сказать для первого знакомства. Кажется, не забыл ничего. Но если бы вы встре-

тили в моих словах повод для превратных толкований, то прошу обращаться ко мне за разъяснениями: двери моей квартиры всегда будут открыты для вас. Мне даже приятно будет вас видеть сколь возможно чаще, потому что урядник, в ожидании разъяснений, может помочь моей прислуге нарубить дров, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу.

Прощайте, господа! Передайте мой привет сотским, и да благословит Бог наши общие начинания!

Господа рассыльные! покажите пример!»

По этому слову произошло нечто умиленное. Рассыльные, в числе шести человек, взялись за руки и стройно запели «ура!»; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиков), стоявшие тут в качестве посторонних зрителей, тоже увлеклись и, взявши друг друга за руки, с пением «ура!» три раза прошлись взад и вперед по селу.

В этот день кабатчик Прохоров безвозмездно угощал урядников огурцами с квасом.

Замечательно, что тот же Прохоров, расставаясь со мною и намекая на то место в речи станового пристава, где говорилось о троякого рода содействии, сказал:

– А вас, господин, по второму номеру зачислили!

– А может случиться, что и по третьему! – не без ехидства присовокупил присутствовавший при этом

другой кабатчик, купец Колупаев.

Хотя мнения кабатчиков и не имели, в данном случае, официального характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мне почудилась в них целая программа. «В самом деле, – думалось мне, – по какому номеру зачислил меня Грацианов: по второму или по третьему? На первый номер я, конечно, и сам не претендовал – куда уж мне за кабатчиками гнаться, – но вот во второй... ах, хорошо, кабы во второй попасть! И вдруг – в третий!!! Правда, он сам дал мне слово, что жизнь моя не будет неожиданным образом прервана, но ведь не даром гласит история, что по нужде и закону премена бывает, – кто же может поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?»

Под влиянием этой горькой мысли я начал задумываться и хиреть и все чаще и чаще обращал взоры в ту сторону, где благоденствовал беспечальный купец Разуваев. Вот кабы сбыть ему Монрепо со всеми потрохами: и с земским цензом, и с политическим будущим, и с перспективой пользоваться дружеским расположением станового пристава! Вот так бы штука была!

Между тем Грацианов не только не лишал меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно он приходил ко мне обедать и в это время обменивался со мной мыслями

по всем отраслям сердцеведения, причем каждый раз обнадеживал, что я могу смело быть с ним откровенным и что вообще, покуда он тут, я не имею никакого основания трепетать за свое будущее.

Я должен сказать правду, что собеседник он был вообще чрезвычайно приятный. Не вдруг раскрыл он мне свою душу, но все-таки сразу дал понять, что он либерал, а иногда даже обнаруживал такое парение, что я подлинно изумлялся смелости его мыслей. Так, например, однажды он спросил меня, как я думаю, не пора ли переименование квартальных надзирателей в околоточные распространить на все вообще города и местечки империи, и когда я ответил, что нахожу эту меру преждевременной, то он с большой силой и настойчивостью возразил: «А я так думаю, что теперь именно самая пора». В другой раз он как бы мимоходом спросил меня, какого мнения я насчет фаланстеров, и когда я выразился, что опыт военных поселений достаточно доказал непригодность этой формы общежития, то он даже не дал мне развить до конца мою мысль и воскликнул:

– А я, напротив того, полагаю, что если бы военные поселения и связанные с ними школы военных кантонистов не были упразднены, так сказать, на рассвете дней своих, то Россия давно уж была бы покрыта целой сетью фаланстеров и мы были бы и счастливы и

богаты! Да-с!

Разумеется, я слушал эти рассуждения и радостно изумлялся. Не потому радовался, чтобы сами мысли, высказанные Грациановым, были мне сочувственны, – я так себя, страха ради иудейска, вышколил, что мне теперь на все наплевать, – а потому, что они исходили от станового пристава. Но по временам меня вдруг осеняла мысль: «Зачем, однако ж, он предлагает мне столь несвойственные своему званию вопросы», – и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды он засиделся у меня после обеда дольше обыкновенного и, начав с утопических мечтаний о том, как было бы хорошо, если бы в обществе не существовало разделения на богатых и бедных, кончил, разумеется, тем, что дал полный ход своей искренности.

– Скажу вам откровенно, – сознался он, – терпеть не могу я этих буржуа, хотя, по обязанностям службы, и должен их поддерживать. Деньжищ у них пропасть – это правда, но ни благородных манер, ни благородных чувств, ни порядочных привычек – ничего! Даже едят безобразно. Зазвал меня, например, на днях к себе кабатчик Колупаев обедать, и представьте, чем угостил! Во-первых, подали щи с солониной, во-вторых, лапшу, в-третьих, ушное из баранины, потом кро-

шево из огурцов и кусочков коренной рыбы с квасом и, наконец, папушник с медом... И, в довершение всего, ни вилок, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство так угощают, то можно себе вообразить, как они едят, когда у них нет гостей! И, что всего при- скорбнее, наш милый батюшка, который тоже присут- ствовал на этом обеде, не только ел за обе щеки, но даже, как мне кажется, спрятал кусок папушника за пазуху!

Не скрою, что и на меня перечисление сейчас при- веденного обеденного меню подействовало болез- ненно, но так как при этом, очевидно, не без предна- меренности, проводилась связь между кушаньями и представлением о политической роли буржуазии, то обстоятельство это невольно налагало на меня из- известную осторожность.

– Со своей стороны, я нахожу, что обед был хотя и простой, но сытный, – сказал я, – а это, по моему мнению, главное. Единственный серьезный недоста- ток, в котором можно упрекнуть перечисленное вами меню, – это обилие супов, сообщающее трапезе од- нообразие и даже некоторую унылость. Но недоста- ток этот вовсе не присущ буржуазии, а зависит пре- имущественно от того, что Колупаев живет в захолу- стье, где не имеется в виду образцов...

– Но вы... вы сами? ведь вы в том же захолустье

живете, а между тем...

– Я... что же я? Не забудьте, Милий Васильич, что я получил воспитание в высшем учебном заведении. Поэтому я, конечно, понимаю, что суп обязателен только в единственном числе и что затем существуют еще соусы, жаркие, пирожные и т. д. Но можно надеяться, что в недалеком будущем все эти представления будут не чужды и буржуазии. Я даже думаю, что и ныне, по мере приближения к центрам цивилизации, буржуазия ведет себя несколько иначе, нежели Колупаев. Так что, например, Поляков, Кокорев, Губонин – ну, я готов держать пари, что Поляков сморкается не в горсть, а в платок, и притом не в клетчатый бумажный, а в настоящий батистовый, быть может, даже впрыснутый духами!

– Может быть... может быть-с! – сказал он задумчиво, но потом с живостью продолжал: – Нет! далеко кулику до Петрова дня, купчине до дворянина! Дворянин и маленькую рыбку подаст, так сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую белугу на стол выволочет – смотреть омерзительно! Да-с, обидели! обидели в ту пору господ дворян!

Увы! при этом воспоминании я чуть-чуть не выдал себя. Есть у меня зияющая рана, прикосновение к которой всегда находит меня чувствительным и отзывчивым. Эта рана – воспоминание о дворянской обиде.

– Ах, как обидели! – воскликнул я, простирая руки... Но, взглянув на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

– То есть, лучше сказать, не обидели, – продолжал я уже спокойнее, – а каждому воздали должное. Прежде у нас была одна опора – дворяне, нынче две опоры – дворяне и буржуа. Стало быть, мы не потеряли, а приобрели.

– А про мужичка-то и позабыли?

– И мужичок – тоже опора, – согласился я.

– Нет-с, не «тоже опора», а самая настоящая опора – вот как-с! потому что мужичка в какую сторону хочешь, туда и поверни.

– И с этим согласен.

– По секрету скажу вам: хоть это и не входит в круг моих обязанностей, но по убеждениям моим я демократ! А вы?

– Что касается до меня, то я никогда об этом не думал. Вообще я живу не думаячи – так по нынешнему времени удобнее. Но ежели начальству угодно...

– Начальству! но разве начальство где-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинные пользы?!

Это было уже слишком. Я почувствовал, что еще минута – и мы вступим на такую покатость, с которой легко можно спуститься в самую преисподнюю. Поэтому я разом пресек недостойный разговор, с силой

воскликнув:

– Нет! с этим я никогда не соглашусь! Слышите, Грацианов! никогда! никогда!

Я помню, после этого разговора я целый вечер был беспокоен и все испытывал себя, не проврался ли я в чем-нибудь. И хотя совесть моя оказалась совсем чистой, но все-таки я долго ночью ворочался с боку на бок, прежде нежели сон смежил мои очи.

Но, увы! чем чаще мы сходились, тем скабрее и скабрее делались наши собеседования. Ни одного краеугольного камня не оставил он без исследования и обо всех отозвался с одинаковым ехидством. О браке, согласно с определением присяжного поверенного Пржевальского, выразился, что это могила любви; о собственности сказал, что область ее «в настоящее время» слишком сужена, что надо расширить ее пределы, допустив приток свежих элементов, хотя бы, например, казнокрадства, причем указывал на купца Разуваева, который поставкой гнилых сухарей приобрел себе блаженство, и т. д. О религии пробормотал что-то такое, от чего у меня уши разом завяли, а о начальстве...

Хотя мое положение во время этих разговоров было очень выгодное, потому что мне приходилось только защищать, но, наконец, мне так наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое скверносло-

вие, что я решился в свою очередь испытать его.

– Скажите, пожалуйста, Милий Васильич, – обратился я к нему, – отчего же вы в речи, обращенной к урядникам, утверждали совершенно противное?

– Странный вопрос! – ответил он мне, нимало не смущаясь, – но разве я имею право быть откровенным с урядниками? Я откровенен с начальством – потому что оно поймет меня; я откровенен с вами – потому что вы благородный человек... Но с урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

– Хорошо-с. А помните, когда я исповедывался перед вами при батюшке?..

– И тогда существовали те же самые причины. «При батюшке»! Но что такое батюшка?

– Извольте, согласен и с этим. Но надеюсь, что теперь вы убедились, что я совсем не разделяю тех воззрений, которые, по-видимому, исповедуете вы?

– Да-с, убедился-с... хотя и с болью в сердце, но... убедился-с!

– Ах, Милий Васильич! как хотите, голубчик, а вы для меня сфинкс!

– К сожалению, я совсем не сфинкс, а только становой пристав! – отвечал он печально, как бы подразумевая при этом: «Будь я сфинкс, давно бы ты узнал, как Кузькину мать зовут!»

– Но заклинаю вас именем всего священного! От-

ветьте мне откровенно: врете вы или нет? – воскликнул я, почти не помня себя от страха.

– Вы меня оскорбляете, наконец! – ответил он, взвываясь во всю длину своего роста, – хоть я и не что иное, как становой пристав, но скажу вам от души: для благородного человека это даже больно... да, очень больно... «Врете вы или нет»?.. Ах!

Несколько дней он как будто будировал и не ходил ко мне. В это время из кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я, не без удивления, узнал, что они извлекаются каким-то вольнопрактикующим незнакомцем. Увы! Этот загадочный для меня человек настолько коротко сошелся с моей прислугой, что не только ел и пил, но даже, по временам, ночевал у меня на кухне... И я ничего не знал об этом! Разумеется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацианов, после недельной разлуки, опять в обеденный час явился в моей столовой.

– Слушайте! – обратился я к нему, – у меня в кухне поселился какой-то незнакомец... скажите, могу ли я, по крайней мере, запретить ему играть на гармонике? Я не выношу этого инструмента.

– Кто же это?! – удивился он.

– Вероятно, вы очень хорошо знаете, и кто и зачем.

– Зачем? – повторил он за мной и вслед за тем залился добродушным смехом. – Да очень понятно, за-

чем! Наверное, у вас на кухне лишние куски остаются, так вот... Ах, все мы говядинку любим! – прибавил он со вздохом. – Но, разумеется, ежели вы протестуете...

– Нет, я не протестую. Говядина и даже телятина... не в том дело! Но я желаю уяснить себе следующее: не должен ли я считать пребывание постороннего человека в моей кухне за нарушение неприкосновенности моего очага?

– Нисколько.

– Очень рад, что таково ваше мнение. Садитесь, пожалуйста, и будем обедать.

– Но, может быть, вы еще сомневаетесь? – успокаивал он меня. – В таком случае скажу вам следующее: человек, о котором вы говорите, есть не что иное, как простодушнейшее дитя природы. Если вы его попросите, то он сам будет бдительно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! потребуйте от него какой-нибудь услуги, и вы увидите, с каким удовольствием он выполнит всякое ваше приказание!

Одним словом, он вновь успокоил меня. Наши отношения возобновились, и я тем скорее забыл недавние недоразумения, что по части краеугольных камней я, в сущности, не уступил бы самому правоверному из станowych приставов. В одном только я опять не остерегся – это по вопросу о дворянской обиде.

– Обидели! – восклицал я, – так обидели, что даже

в истории не бывало примеров более горькой обиды! В истории – понимаете? – в истории, которая потому только и признается поучительной, что она сплошь из одних обид состоит!

Затем я закусывал удила и начинал доказывать. Доказывал горячо, с огоньком и в то же время основательно. Во-первых, нас не спросили; во-вторых, нас не вознаградили за самое главное... за наше право! в-третьих, нас поставили на одну доску... с кем!!! в-четвертых, нам любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; в-пятых, нас живьем отдали в руки Колупаевым и Разуваевым; в-шестых...

Хорошо, однако ж, что я, в пылу доказательств, имею привычку от времени до времени взглядывать на моего собеседника. И вот однажды, подняв глаза на Грацианова, я увидел, что все лицо его светится улыбкою.

– Чему вы смеетесь? – воскликнул я на этот раз довольно грубо, потому что решился, наконец, вывести эти улыбки на свежую воду.

Однако он и тут очень ловко вывернулся.

– Тому и смеюсь, что наконец-то и вы убедились, – сказал он. – Помните наш недавний разговор? Я говорил, что обидели господ дворян, а вы утверждали, что не обидели, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мере, хоть теперь...

Но я уже не верил коварным оправданиям и с запальчивостью ответил:

– Нет, нет! не тому вы смеялись, а совсем другому... Вы думаете, что я наконец проговорился... ну, так что ж! Ну обидели! допустим даже, что я сказал это! Ну и сказал! Ну и теперь повторяю: обидели!.. что ж дальше? Это мое личное мнение – понимаете! мнение, а не поступок – и ничего больше! Надеюсь, что мнения... ненаказуемы... черт побери! Разве я протестую? разве я не доказал всей своей жизнью... Вон незнакомец какой-то ко мне в кухню влез, а я и то ни слова не говорю... живи!

Одним словом, неуместной своей горячностью я чуть было не довел дело до размолвки. К счастью, он выказал в этом случае замечательное самообладание и, вместо того, чтоб обидеться моими подозрениями, начал очень мило и ловко меня урезонивать. Говорил ласковые слова, и притом не на дьячковский манер, без знаков препинания, а тепло, сердечно, с очевидным участием. Просил довериться ему, убеждал, что хотя лично и не имеет чести называться дворянином, но всегда сочувствовал дворянской обиде... И вдруг, в то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться навстречу его речам, он совершенно неожиданно присовокупил:

– А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это уж было такое явное подстрекательство, что я не выдержал.

– Никогда! – ответил я решительно и холодно.

– Чего уж там: никогда! по глазам вижу, что хочется! хочется! хочется!

– Повторяю вам: никогда!!!

– Но почему же, наконец?

– Потому, во-первых, что протест несочувствен для меня лично, а во-вторых, потому что он не согласуется с нашими традициями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться друг с другом, могли выщипывать друг у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нет! никогда!

Я не без достоинства встал из-за стола и удалился в кабинет, оставив его на досуге размыслить, насколько имела успеха по отношению ко мне его пресловутая «система вопрошения».

И вот однажды он пришел ко мне утром и, не говоря худого слова... поцеловал меня!

– Давно уж я выжидаю этого момента и наконец теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желание! – воскликнул он, облизывая губы.

Разумеется, я смотрел на него испуганными глазами.

– Не удивляйтесь, – продолжал он, – и выслушайте меня. При самом вступлении моем в должность,

услышав от батюшки о ваших опасениях, я сразу принял в вас самое горячее участие. После того вы лично подтвердили мне эти опасения, причем чистосердечно во всем сознались, и это еще больше меня тронуло. Я решился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтоб вы не могли иметь никаких сомнений насчет ее непрерывности. Но, разумеется, по долгу службы я должен был предварительно убедиться, что вы действительно этого заслуживаете. С этой целью я, по обыкновению, прибегнул к системе вопрошения и теперь, после месячного испытания, могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не только удовлетворили всем моим требованиям, но даже предъявили несколько более, чем я ожидал. Я прикидывался ненавистником буржуазии, но вы доказали мне, что последняя имеет несомненные права на существование. Я облыжно называл себя демократом, но вы благородно мне отказали в вашем сочувствии по этому предмету. Я кощунственно утверждал, что начальство само не сознает своих польз, но вы с негодованием отвергли самое предположение о таком несознании. Когда же я с притворным участием отнесся к дворянской обиде, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этом выказывали такую беззаветную покорность судьбе, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиления. Наконец, сознаться ли до конца?

Я командировал к вам на кухню особого доверенного человека, с тем, чтобы он собрал под рукой вернейшие о вас сведения, и добытый этим исследованием результат представляется в следующем виде:

никогда в целом околотке не видали столь твердого в бедствиях землевладельца, как вы! Сами кабатчики – и те о том с умилением засвидетельствовали. Итак, отныне все недоразумения кончены. Вы – наш, и мы – ваши!

Высказавши это, он, конечно, ожидал, что я брошусь в его объятия; но я молчал. Тогда он продолжал:

– Забыл. Вы даже мне лично оказали неоцененную услугу, разъяснив разницу, которая существует между помышлениями обывателей и их поступками. Это в значительной степени упрощает задачи внутренней политики, хотя, с другой стороны, в такой же степени умаляет их блеск. Во всяком случае... благодарю.

Он протянул ко мне обе руки, но я с самого начала этой сцены до того растерялся, что руки эти так и остались протянутыми в пространстве. Тогда он фамильярно потрепал меня по плечу и произнес:

– Привыкнете, друг мой, привыкнете!

В тот же день кабатчик Колупаев пригласил меня к себе на вечерку, предупредив, что у него соберется вся наша сельская интеллигенция для игры в стуколку.

И я был там, играл с Грациановым и другими гостями в стуколку, проиграл целую уйму пятак, говорил комплименты кабатчице Колупаевой, ухаживал за ее дочкой, пил водку, закусывал рыжей икрой, а за ужином ел говяжий студень с хреном. Вообще, по оказанному мне радушному приему я убедился, что кабатчики, наконец, примирились со мной и допустили меня в свою среду. Нет сомнения, что я был обязан этим Грацианову.

После этого у нас началось настоящее веселье, и Грацианов оказался истинным мастером по части соединения общества. Вечера следовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потом у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконец, я и сам задал пир на весь мир. Мало того: когда Грацианов по секрету сообщил мне, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принял участие в сватовстве и очень ловко выведал у родителей, что за невестой будет дано пятьсот рублей деньгами и, кроме всякого платья, лисий «монтон», четыре перины, два самовара и мериносовый платок.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидал, что Грацианов опять поцелует меня. Не то, чтобы мне были антипатичны, собственно, административные поцелуи, но, будучи характера нелюдимого и малообщительного, я вообще не имею к поцелу-

ям пристрастия.

И вот я вспомнил, что в губернии служит в качестве очень авторитетного лица один из моих товарищей по школе, и отправился в город с целью во что бы то ни стало разъяснить себе вопрос: имеет ли право Грацианов целовать меня по своему усмотрению? Мой старый друг очень благосклонно выслушал всю историю моих сношений с Грациановым и все действия последнего нашел в высшей степени легкомысленными. Во-первых, он не имел права принимать мою исповедь и, во-вторых, еще меньшее право имел подвергать меня испытанию. Он просто-напросто должен был ожидать поступков.

– Что же касается до поцелуев, – прибавил мой друг, – то я ничему другому не могу приписать это, как дурной привычке, приобретенной им, вероятно, еще в училище для детей канцелярских служащих.

Но этого мало: он убедил меня, что в настоящее время порядочный человек не только не имеет причин опасаться внезапных жизненных метаморфоз, но даже обязывается жить для славы своего отечества.

– Ты сам виноват, душа моя, – сказал он, – с одной стороны, ты слишком мрачно смотришь на вещи, а с другой – чересчур уж смирен и не выказываешь ни малейшей самостоятельности. Будь тверже, голубчик, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще может быть

полезной.

И я живу.

МОНРЕПО-УСЫПАЛЬНИЦА

Мало-помалу тревога, возбужденная во мне появлением на нашем сельском горизонте Грацианова, улеглась. Да ежели говорить по правде, и тревожного тут ничего не было, и только исключительные условия, составляющие мою личную особенность, могли содействовать возведению такого пустого факта на степень переполоха. Дело в том, что у меня с малых лет напугано воображение, и напугано, надо сказать правду, начальством. Всю жизнь я ничего другого не видел перед собой, кроме начальников; всю жизнь мне твердили: тупа арифметика, косноязычна грамматика, ежели нет в сердце спасительного, начальственного трепета. Сначала я смотрел на родителей как на начальство; потом поступил в заведывание воспитателей, которые тоже надувались и говорили: «Мы – ваше начальство!» – а наконец, и вправду попал начальству в руки. Ну, натурально, испугался. Напоследях спрятался в Монрепо и думал: уж тут-то меня не настигнет начальственный взор – и вдруг Грацианов!..

Lui! toujours lui! ⁵

⁵ Он! всегда он! (фр.)

Но, в сущности, повторяю, все эти тревоги – фальшивые. И ежели отрешиться от мысли о начальстве, ежели победить в себе потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себе: за что же начальство с меня будет взыскивать, коли я *ничего не делаю*, и ежели, наконец, раз навсегда сознать, что и станковые и урядники – все это нечто эфемерное, скоропреходящее, на песце построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться в губернии), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни от кого запрета нет...

А умирать – пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться от жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, где слышатся голоса только бесчисленного множества темпераментов, где нападающие не знают, на кого они нападают, а защищающиеся – от кого они обороняются, где нет речи об идеале, а мечется в глаза только обнаженный факт борьбы, – в такой суматохе ничего лучшего не придумаешь, как схорониться в укромное место и там – начать умирать.

«Там», то есть в Монрепо. Нигде не найдется для самого прихотливого умирания такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигде нельзя так незаметно и естественно окунуться в область неизвестного. И ежели я говорю, что в качестве усыпальницы Монрепо представляет собой нечто ни

с чем несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей совести, а совсем не в виде рекламы. Мало того, я вполне искренно утверждаю, что наши фрондирующие помещики слишком мало принимают в расчет это свойство принадлежащих им Монрепо и только поэтому так дешево сбывают их всевозможным хищникам новейшей формации, которые спешат обратить их в кабаки.

Прежде всего, как на отличнейшую особенность Монрепо, я могу указать на полнейшее отсутствие утешений медицины. Я не отрицаю заслуг врачебной науки и ее служителей, но мне кажется, что ежели раз человек решил, что жить довольно, то, при известной дозе порядочности, даже не совсем прилично обороняться от смерти. Пускай люди, исполненные цветения и сил, мечтают о жизни – это их право; человек умирающий, в видах собственного ограждения, должен забыть и о цветении, и о силе, и вообще о каких бы то ни было правах на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрешается, – это, по возможности, устроить удобную обстановку для предстоящего умирания. А в этом смысле, опять-таки повторяю, Монрепо неоцененно. В городе никак не выдержишь, непременно начнешь обороняться. Обратишься к человеку науки, который затормозит естественный процесс умирания, подольет в лампаду чего-то не насто-

ящего, а «заменяющего», и заставит ее лишний срок чадить. В Монрепо подобное малодушие уже по тому одному немислимо, что там нет ни мужей науки, ни «заменяющих» снадобьев. Обитатель Монрепо потухает сам собой, естественно, неизбежно. Потухает с отраднм убеждением, что последние его мерцания не отравили окрестности запахом злоуханной гари, которая при других, менее благоприятных условиях непременно вконец измучила бы человека, заменив подлинную жизнедеятельность искусственным калечеством.

Но, сверх того, истинно «сладкое» умирание возможно только под условием полной и невозмутимой тишины. И этого условия ни в городе, ни даже в деревне не добудешь, а найдешь в одном Монрепо. Везде царит либо рабочая суета, либо разгул; наконец, везде отыщутся друзья, люди, принимающие участие, любопытные. Только в Монрепо нет ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любопытных – разве это не блаженство? Ничто не шелохнется кругом, ни один звук не помешает естественному потуханию. Особливо зимой. Монрепо, потонувшее в сугробах снега, – да это земной рай!

Природа оцепенела; дом со всех сторон сторожит сад, погруженный в непробудный сон; прислуга забралась на кухню, и только смутный гул напомина-

ет, что где-то далеко происходит галдение, выдающее себя за жизнь; в барских покоях ни шороха; даже мыши – и те беззвучно перебегают из одного угла комнаты в другой. Сидишь себе в кресле один-одинешенек или бродишь усталыми ногами взад и вперед по запустелой анфиладе – и чувствуешь, ясно чувствуешь, как постепенно внутри у тебя тает и погасает. По совести говорю: слаще этого чувства нет. К нему можно пристраститься до упоения, с ним можно возвыситься до одичалости. Даже пропинационная привилегия – и та не может идти в сравнение с этой прекраснейшей привилегией постепенного умирания среди сладчайшей тишины.

Нам, людям тридцатых, сороковых и иных годов, это в особенности понятно, потому что с нами в последнее время случилось нечто не совсем обыкновенное. Всё-то мы жили да жили и вдруг потеряли что-то самое нужное и разом сделались неспособными принимать участие в делах и вещах современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которые непрочь еще похорохориться, устроить недоразумение и погарцевать перед застигнутой врасплох толпой в качестве заправских деятелей; но большинство отлично понимает, что являться в публику с запасом забытых слов – именно значит только длить бесплодные недоразумения. Положим, что эти выцвет-

шие слова в былое время были полны содержания и освещали жизнь, но какое дело до них современности? В былое время они были и хороши и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мне не иначе, как в виде ящика с двойным дном. В котором дне обретается «настоящая штука» – поди, угадай! Да и какая еще «штука» – может быть, райская птица, может быть, крокодил? И помоложе, половчее нас люди – и те не угадывают, а только поневоле, как-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, что под руку попадет. Именно поневоле, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало быть, и изворачиваться. А мы обречены умирать и, следовательно, от угадываний свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тем более благо, что, всмотревшись пристальнее в проносящуюся мимо нас сутолоку современности, по совести, нельзя не воскликнуть: «Ах, как бесконечно мучительна должна быть роль деятеля среди этой жизни с двойным дном!»

Да, такая жизнь даже более, нежели мучительна, она постыдна. Перед глазами мечется какая-то бесконечная фантастическая сказка: не разберешь, что тут действительность и что – сонное видение. Наиреаль-

нейшие, с первого взгляда, факты – и те являются в сопровождении таких подозрительных околичностей, которые отнимают у них все признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь – все служит источником самых язвительных вопросов, и, что всего мучительнее, ни на один из этих вопросов вы не найдете нигде вполне вразумительного ответа. Я мог бы назвать здесь целую свиту вполне несомненных и доказательных фактов, которые несомненно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тем не менее не называю их. Почему же я не называю их? А потому именно, что всечасно и всеминутно ощущаю себя защемленным между двойным дном. Ведь все равно, говорю я себе, из моих указаний ничего не выйдет, так лучше уж я... Ах! какая масса тут малодушия, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы определенные ответы, то очевидно, что немыслимы ни правильные наблюдения, ни вполне твердые обобщения. Ни жить, стало быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Везде – двойное дно, в виду которого именно только изворачиваться можно или идти неведомо куда, с завязанными глазами. Представьте себе, что вы нечаянно попали в комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Езопов, которые ведут оживленный разговор – и всё притчами! Ясно, что тут можно

сойти с ума.

И вот для того, чтобы не быть обязанным ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дело – это затвориться в Монрепо. А если при этом и сама охота к жизни пропала, то это уж и совсем хорошо. Правда, что есть у нас, культурных людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки более или менее препятствуют полному забвению жизни, но тут уже необходимо принять героические меры. А именно: разом прекратить доступ для всего, что напоминает о книгопечатании и сопряженных с ним учреждениях. В противном случае двойное дно проникнет и в Монрепо.

Ибо у жизни, снабженной двойным дном, и литература не может быть иная, как тоже с двойным дном. Газеты, например, положительно могут измучить. Помещая на столбцах своих факты, по-видимому, самые обыденные, они будут ежедневно пробуждать в отшельнике целый рой томительных сновидений. Произвели, например, коллежского советника Растопырю за отличие в следующий чин, – кажется, что может быть проще, обыденнее этого известия? А между тем вдумайтесь в него, и вы удивитесь, какой бесконечный ряд томительнейших вопросов поднимется перед вами по его поводу! Во-первых, вопросы высшего порядка. Подлинно ли Растопыря заслужил производ-

ство в следующий чин? Не было ли тут интриги, nepo-тизма, лакоmства, не скрывается ли за этим фактом ходатайство Гулак-Артемовской? Все это – вопросы важные, существенные, ибо при утвердительном ответе на них («да, по ходатайству Гулак-Артемовской») воображению представляется картина развращения нравов, а при ответе отрицательном – картина чистоты нравов. Согласитесь, что для патриота своего отечества это далеко не безразлично. Затем опять вопросы: сумеет ли Растопыря в новом чине заслужить то доверие начальства, которое он умел заслужить в старом чине? каких облегчений вправе ожидать от него отечество, буде он и впредь, с такой же неуклонностью, будет подвигаться по лестнице почестей и отличий? А наконец, и вопросы порядка низшего, личного. Каким оком, милостивым или немилостивым, взглянет Растопыря на Монрепо и скрывающегося в нем отшельника? не найдет ли он, что сам факт отшельничества есть факт подозрительный, влекущий за собой лишение хотя и не всех – у Растопыри доброе сердце, – то хотя некоторых прав состояния? И ежели это факт подозрительный и влекущий, то... И так далее, и так далее.

Какие ответы я найду на эти вопросы в газетах? положительно никаких! Так зачем же мне знать об этом производстве? зачем я буду заставлять мою мысль

опускаться куда-то на второе дно, где этот скромно выглядывающий с газетного столбца Растопыря, быть может, явится в таком угрожающем виде, который все мое существо наполнит испугом? И, что всего важнее, испугом напрасным, ибо я знаю наверное, что Растопыря – малый доброжелательный, который если и позволит себе лишить меня некоторых прав состояния, то не иначе, как в видах моей же собственной пользы.

А потом пойдут газетные «слухи»... ах, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьям, ни лететь навстречу врагам – нет крыльев! Нет, нет и нет! Сиди в Монрепо и понимай, что ничто человеческое тебе не чуждо и, стало быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (в Монрепо, вследствие изобилия досуга, это чувство некасаемости как-то особенно обостряется, делается до болезненности чутким). А ежели не касается, то из-за чего же терзать себя?

Нет, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналов, ни газет, тем больше не нужно, что нынче в любом деревенском кабаке, в любой «портерной» найдется эта отравка, так что совсем от жизни все-таки не убежишь. Пойдет в кабак кто-нибудь из присных, и непременно или сам что-нибудь вычитает или вдоволь наслушается. Потом расскажет в людской, а на-

последок проберется в комнаты и там начадит. По мнению моему, этим путем получать вести из мира живых, во всяком случае, менее мучительно, нежели сообщаться с ним посредством книгопечатания. Ибо, слушая, как сын природы несет ахинею, вы все-таки имеете возможность хоть тем утешить себя, что, может быть, он и переврал.

Именно так я прошлой зимой и поступил. Еще 31 декабря я чувствовал себя в компании баснописцев, и вдруг с 1 января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера с таким бесцельным гвалтом бушевало в берегах, сегодня улеглось как бы по манию волшебства. Картины, волновавшие кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потом Афганистан и Зулу, потом ветлянская интрига, потом еще интрига и еще интрига, а наконец, и слухи о предстоящем финансовом возрождении... Последние, впрочем, держались несколько упорнее, потому что ведь и умирать не совсем ловко, когда не умеешь ясно ответить на вопрос: что такое рубль? Стало быть, с этой стороны, то есть со стороны мира живых, я совсем квит. Мне скажут, может быть, что отсутствие памятников книгопечатания представляет очень важный пробел в человеческом существовании, потому что и т. д. Но, во-первых, газета «И шило бреет» – разве это памятник?

а во-вторых, я ведь не о «существовании» и речь повел. Я говорю об умирании, об одном умирании, а с этой точки зрения, право, лучше не надо.

Вместе с прочими, отравляющими жизнь представлениями, постепенно начало сглаживаться и представление о Грацианове. Очевидно, моя поездка в губернию смутила его... Он сделался сдержаннее, при встречах не делал мне ручкой, но молча прикладывался под козырек, причем с явно утрированной почтительностью выгибал шею и откидывал назад поясницу. А главное, не только перестал меня испытывать, но даже совсем ко мне не приходил. Только от времени до времени я примечал из окна, что он меланхолически бродил по моему парку, напевая какой-то романс, – вероятно, «Черный цвет». Очевидно, он хотел дать мне почувствовать этим, как он мог бы любить, если бы я только захотел, и как много я потерял, устранившись от его ласк... Я это очень хорошо понимал и, грешный человек, иногда даже готов был выслать ему рюмку водки, но, к счастью, голос рассудка и соблазнительная картина непостыдного умирания восторжествовали над легкомысленными угрызениями совести.

Кабатчики выказали себя несколько упорнее и не так-то легко предоставили меня моей судьбе. Благодаря Грацианову в период моего легкомысленного пе-

реполоха я завязал с ними очень крепкие связи. У всех вообще – пил водку, играл в стучолку и закусывал студнем, а в частности, с некоторыми вступил даже в духовное родство. У Осьмушникова крестил дочку, у Колупаева разыгрывал роль свата, у Прохорова – едва не свел со двора жену (разумеется, этого на деле не было, а были «насмешки», в которых я фигурировал в качестве соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя особенно приятно, когда, бывало, Осьмушников, еще где завидев меня, крикнет: «Здорово, кум!» или Прохоров: «Здорово, свояк!» – но покуда для меня было неясно, имеет или не имеет Грацианов право читать в моем сердце, я крепился и молчал. Теперь, когда начальство меня разуверило и когда мои отношения к Грацианову определились вполне, я, конечно, счел первым долгом дать отпор всем кумовьям и своякам. Но они уже сами не соглашались ретироваться. В особенности же Прохоров долго донимал меня своими дружескими «насмешками». Только что, бывало, я расположусь «умирать», только что сомкнутся мои вежды и слух начнет наполняться тихими шепотами непостыдного угасания, как он уж тут как тут, словно из-под земли вырос. Сначала наполнит дом звуками одышки, потом грузно сядет в кресло, расправит пятерней кудри, оботрет клетчатым платком потное лицо, запалит папироску, дохнет

сивухой и начнет шутки шутить.

– Устал, – скажет, – инда задохся. Туков много внутри скопилось. Ну а ты, свояк, что нос повесил?

– Да так...

– Чего «так»? Чай, все по чужим женам тоскуешь? а?

– Когда же это...

– Нет, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотел со двора свести? а?

– Но послушайте же, наконец...

– Нет, ты постой! погоди! ты вот мне на что ответь: разве это резон? Резон ли мужнюю жену на любовь с собою склонять? Как эти поступки в заповедях-то называются? слышал? а?

– Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

– То-то «я»! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты – ты! Ты бы вот рад радостью в чужом саду яблочко съесть, даже и сейчас у тебя от одного воображения глаза враскос пошли – да на тот грех я сам при сем состою! Ну, мир, что ли! пошутил! давай руку – будет с тебя!

Но в ту минуту, когда я мнил, что он серьезно подает мне руку, он совершенно неожиданно показывал мне шиш, а иногда и просто брал под мышки и, будучи вчетверо сильнее меня, увлекал в произвольный галоп, причем задыхался, хрипел и свистел на

весь дом.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпел и ни на что не решался. Наконец, однако ж, решился и однажды, когда он приблизился, чтоб взять меня под мышки, я совершенно серьезно плюнул ему в самую лохань. Только тогда он понял, что я – человек солидный и «независимый». Он скромно вытер платком лицо, произнес: «Однако!» – и с тех пор ко мне ни ногой.

Я сознаюсь, что это был с моей стороны очень дурной и наглый поступок, но клянусь, что в ту минуту он вышел сам собой. Защита как-то невольно приняла ту самую форму, в которую с давних пор облакалось нападение. Прохоров насильственно водворялся в моем доме, насильственно заставлял меня выслушивать свои «насмешки», насильственно хватал меня под мышки и увлекал в галоп – и вот я в той же насильственной форме дал ему отпор. Сверх того, я позволяю себе думать, что поступок этот скорее свидетельствует о моей деликатности (с большой, впрочем, примесью робости и слабых характера), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бывают очень и даже чересчур выносливы. Они долго терпят, допускают и даже поддакивают именно из опасения обидеть, задеть чужое самолюбие. Поддакивают даже тогда, когда уже началось хватание под мышки. И вдруг, глаза открываются, и какое-то ужас-

но подлое и гадкое чувство начинает пронизывать все существо. Но, к сожалению, все это обнаруживается лишь тогда, когда дело уже мучительно обострилось. И вот...

Во всяком случае, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, как неприятно и ненадежно положение русского культурного человека, который помнит, что когда-то он занимался «филантропиями», и понимает, что по нынешнему времени это составляет неизбываемый грех. Он помнит, понимает и боится. Чего именно боится – он сам определенно сказать не может, но ведь чем неопределеннее подобное чувство, тем оно тяжелее. Главным образом, однако ж, он боится своей беззащитности, неприкрытости, и, вследствие этого, совершенно искренно верит, что и Грацианов, и Осьмушников, и Прохоров могут во всякое время свободно к нему войти в дом и полюбопытствовать: а что, мол, ты сам в одиночку каверзничашь? И вот, когда сумма этих унижительных страхов накопится до *pes plus ultra*⁶, когда чаша до того переполнится, что новой капле уж поместиться негде, и когда среди невыносимо подлой тоски вдруг голову осветит мысль: «А ведь, собственно говоря, ни Грацианов, ни Колупаев залезать ко мне в душу ни от кого не уполномочены», – вот тогда-то и является на вы-

⁶ До крайних пределов (*лат.*)

ручку дикая реакция, то есть сквернословие, мордобитие, плевание в лохань, одним словом – все то, что при спокойном, хоть сколько-нибудь нормальном течении жизни, мирному гражданину даже на мысль не придет.

Как бы то ни было, но я безмерно обрадовался, что наконец меня охватила со всех сторон бесконечная тишина. Под влиянием этой радости я совсем утерял из виду, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цель была достигнута: я очутился один – это было самое существенное. Но этого мало, я сделался почти бесстрашен. Не только позабыл, что под боком у меня сидит Грацианов, но опять вспомнил старое и бросился в филантропии. Начал мечтать, сочинять «промежду себя» реформы, и всё такие, чтобы все разом почувствовали и в то же время никто ничего не ощутил. Сначала, разумеется, мечтал робко, но чем дальше, тем смелее, и, наконец, «в надежде славы и добра», пустил такими букетами, что даже стены, слушавшие меня, – и те смекнули, чем пахнет.

Ничто так не увлекает, не втягивает человека, как мечтания. Сначала заведется в мозгах не больше горошины, а потом начнет расти и расти, и наконец вырастет целый дремучий лес. Вырастет, встанет перед глазами, зашумит, загудит, и вот тут-то именно и нач-

нется настоящая работа. Всего здесь найдется: и величие России, и конституционное будущее Болгарии, и Якуб-хан, достопамятно шествующий по стопам Шир-Али, и, уже само собою разумеется, выигрыш в двести тысяч рублей.

Что понравилось, то и выбирай. Ежели загорелось сердце величию России – займись; ежели величие России прискусило – переходи к болгарам или к Якуб-хану. Мечтай беспрепятственно, сочиняй целые передовые статьи – все равно ничего не будет. Если хочешь критиковать – критикуй, если хочешь требовать – требуй. Тrequй смело; так прямо и говори: «Долго ли, мол, ждать?» И если тебе внимают туго, или совсем не внимают, то пригрозись: «Об этом, дескать, мы поговорим в следующий раз...»

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совести: возможность удовлетворять потребности мечтания составляет едва ли не самую сладкую принадлежность умирания. Мечта отуманивает и, следовательно, устраняет из процесса умирания все, что могло бы встревожить пациента слишком назойливой ясностью. Мечта не ставит в упор именно *такой-то* вопрос, но всегда хранит в запасе целую свиту быстро мелькающих вопросов, так что мысль, не связанная обязательным сосредоточением, скользит от одного к другому совершенно незаметно. Даже

последовательности в работе ее не замечается, хотя связь, несомненно, существует. Но она скрывается в тех моментах забытья, в которое человек произвольно погружается под влиянием мысленных мельканий. Это забытье совсем не пустопорожнее, как можно было бы предполагать, и в то же время очень приятное. Мелькнет один предмет, остановит на себе минутное внимание, и почти вслед за тем погрузит мысль в какую-то массу полудремотных ощущений, которые невозможно уловить, – до такой степени они быстро сменяются одно другим. Затем вынырнет другой предмет, и непременно вынырнет в последовательном порядке, но так как этому появлению предшествовало «забытие», то определить, в чем заключается «порядок» и что именно обусловило перемену декораций, представляется невозможным. Повторяю: ужасно это приятно. Ходишь, думаешь, наверное знаешь, что нечто думаешь, но что именно – не скажешь. Какая открывается при этом безграничная перспектива приволья, свободы, безответственности! И безответственности не только перед самим собой (это-то не штука), но и перед начальством. Поймите, как это хорошо! Тяжело ведь вечно так жить, чтобы за все и про все ответ держать: нужно хоть немного и так пожить, чтобы ни за что и ни перед кем себя виновным не считать. Хочу – умные мысли мыслю, хочу – легко-

мысленничаю... кому какое дело!

Тем не менее, как ни мало определены были мои зимние мечтания, я все-таки некоторые пункты могу здесь наметить. Чаще и упорнее всего, как и следует ожидать, появлялся вопрос о выигрыше двухсот тысяч, но так как вслух сознаваться в таких пустяках почему-то не принято (право, уж и не знаю, почему; по моему, самое это культурное мечтание), то я упоминаю об этом лишь для того, чтобы не быть в противоречии с истиной. Затем выступали и вопросы серьезные, между которыми первое место, разумеется, принадлежало величию России. Я считаю нелишним изложить здесь главные тезисы моих мечтаний по этому вопросу, заранее, впрочем, извиняясь перед читателем в той неудовлетворительности, которую он, наверное, приметит в моем изложении. Увы! я и до сих пор не могу вместить свободы книгопечатания и вследствие этого иногда чересчур храбрюсь, но в большей части случаев – чересчур робею.

Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это – самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом вино-

ват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомяну минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всемишутно к источнику своей боли устремляется...

Но этот же культ, вероятно, и служит предлогом для обвинений, о которых идет речь. Есть люди (в последнее время их даже много развелось), которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые сухонным языком выкликают: «Звон победы раздавайся!» и зияющими впадинами, вместо глаз, выглядывают окрест: кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними? Это – целое постыдное ремесло. По моему мнению, люди, занимающиеся этим ремеслом, суть иезуиты. Разумеется, иезуиты русские, лыком шитые, вскормленные на почве крепостного права и сопряженных с ним: лганья, двоедушия, коварства и пр. Это – люди необыкновенно злые, мстительные,

снабженные вонючим самолюбием и злой, долго задерживающей памятью, люди, от которых можно тогда лишь спастись, когда они вместе с бесконечной злобой соединяют и бесконечную алчность к ловлению рыбы в мутной воде. Тогда можно от них откупиться, можно бросить им кость в глотку. Но если они с адской злобой соединяют и адское бескорыстие и ежели при этом свою адскую ограниченность возводят на степень адского убеждения – тогда это уже совершенные исчадия сатаны. Они настроят мертвыми руками бесчисленные ряды костров и будут бессмысленными, *пустыми* глазами следить за предсмертными конвульсиями жертвы, которая, подобно им, не стучала в *пустые* перси...

Но отворотим лицо наше от лицемеров и клеветников и возвратимся к Монрепо и навеваемым им мечтаниям.

Я желал видеть мое отечество не столько славным, сколько счастливым – вот существенное содержание моих мечтаний на тему о величии России, и если я в чем-нибудь виноват, то именно только в этом. По моему мнению, слава, поставленная в качестве главной цели, к которой должна стремиться страна, очень многим стоит слез; счастье же для всех одинаково желательно и в то же время само по себе составляет прочную и немеркнущую славу. Какой венец может

быть более лучезарным, как не тот, который соткан из лучей счастья? какой народ может с большим правом назвать себя подлинно славным, как не тот, который сознает себя подлинно счастливым? Мне скажут, быть может, что общее счастье на земле недостижимо и что вот именно для того, чтобы восполнить этот недостаток и сделать его менее заметным и горьким, и придумана, в качестве подспорья, слава. Слава, то есть «нас возвышающий обман». Но я – человек скромный; я не дипломат и даже не публицист и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы и кого, собственно, они обманывают. Я думаю, что это пустое и вредное кляузничество, – и ничего больше. Ужели человек, смотрящий на мир трезвыми глазами и чувствующий себя менее счастливым, нежели он этого желает, – ужели этот человек утешится тем только, что начнет обманывать себя чем-то заменяющим, не подлинным? Нет, он не сделает этого. Он просто скажет себе: «Ежели я в данную минуту не столь счастлив (а стало быть, и не столь славен), то это значит, что необходимо употребить известную сумму усилий, дабы законным путем добыть ту сумму счастья и славы, которая, по условиям времени, достижима». Вот и все. А насколько будут плодотворны или бесплодны эти усилия – это уж другой вопрос.

Руководясь этими скромными соображениями, я и

в мечтаниях никому не объявил войну и не предпринял ни малейшей дипломатической кампании. А следовательно, не одержал ни одной победы и никого не огорошил дипломатическим сюрпризом. Вообще, моя мысль не задерживалась ни на армиях, ни на флотах, ни на подрядах и поставках и даже к представлениям о гражданском мундирном шитье прибегала лишь в тех случаях, когда, по издревле установленным условиям русской жизни, без этого уж ни под каким видом нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можем быть без того, чтобы при этом сам собой не возник вопрос: а как же в сем случае поступали господа чиновники? Но тут-то именно и выяснилась полная доброкачественность моих мечтаний. «Что делали господа чиновники? – спрашивал я сам себя и тут же, после кратковременного „забытья“, отвечивал: – Ходили в мундирах – и больше ничего». Этим простым ответом, мне кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновников (ибо благополучие на их глазах созидалось, и они благосклонно допустили его) и идея не необходимости чиновников, ибо, говоря по сущей совести, благополучие могло бы совершиться и без них. Впрочем, по скромности моей, я более склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсем особенная, русская. Ходят люди в мундирах, ничего не созидают, не оплодотво-

ряют, а только не препятствуют – а на поверку оказывается, что этим-то именно они и оплодотворяются... Какое занятие может быть легче и какой удел – слаще?

Но ежели раз воинственные и присоединительные упражнения устранены, то картина благополучия начертывалась уже сама собой. В самом деле, что нужно нашей дорогой родине, чтобы быть вполне счастливой? На мой взгляд, нужно очень немного, а именно: чтобы мужик русский, говоря стихом Державина: «Ел добры щи и пиво пил». Затем все остальное приложится.

Если это есть – значит, у мужика земля приносит плод сторицею. Если это есть – значит, страна кипит млеком и медом и везде чувствуется благорасстворение воздушных и изобилие плодов земных. Если это есть – значит, деревни в изобилии снабжены школами, и мужик воистину познал, что ученье – свет, а неученье – тьма. Если это есть – значит, казна государева ломится под тяжестью серебра и золота и нет надобности ни в «выбиваниях», ни в экзекуциях для пополнения казенных сборов. Если это есть – значит, в массах господствует трудолюбие, любовь к законности, потребность тихого жития, значит, массы действительно повинуются не токмо за страх, но и за совесть. Если это есть – значит, за границу везутся за-

правские избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вследствие горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть – значит, у мужика есть досуг, значит, он ведет не прекратительную жизнь подъяремного животного, а здоровое существование разумного существа, значит, он плодится и множится. Если это есть – значит, курное логовище уступило место подлинному жилищу, согласованному с человеческими потребностями. Если это есть – значит, правда и милость царствуют в судах, значит, нечего и судить, так что адвокаты щелкают зубами, а судьи являются в места служения лишь для получения присвоенного им содержания. Если это есть – значит, монополия не впивается когтями в беззащитную жертву и не рвет ее внутренностей. Если это есть – значит, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процветает. Если это есть – значит, рубль равен рублю...

Вот сколько отличнейших представлений заключает в себе такой простой факт, как общедоступность «добрых щей»! Спрашивается: ужели в целом мире найдется народ, более достойный названия «славного», нежели этот, вкушающий «добры щи» народ?

Кажется, что мечтать на эту тему – ничего? Даже Грацианов – и тот, думается мне, не найдет тут «воз-

буждения пагубных страстей»? Пагубных страстей – к чему? К «добрым щам»?

Итак, я мечтал на тему о величии России. Я всем желал всего доброго, всего лучшего. Чиновнику – чинов и крестов с надписью: «За отдохновение»; купцу – хороших торгов и медалей; культурному человеку – бутылку шампанского и вышедшее в тираж выкупное свидетельство; мужику – «добрых щей». И при этом, как человек, одаренный художественными инстинктами, я так живо представлял себе благополучие этих людей, что они металась перед моими глазами, как живые. Все были поперек себя толще, у всех лица лоснились под влиянием хорошего житья и внутреннего ликования. Но в особенности хорош был мужик, так хорош, что я по целым часам вел с ним мысленную беседу.

– Ну что, милый человек, – спрашивал я, – бунтовать больше не будешь?

– Помилуйте, ваше скородие, – отвечал он, – уж ежели мы во время секуциев – и то, значит, со всем нашим удовольствием, так теперича и подавно нас за эти самые бунты...

При этих словах обыкновенно наступало «забытье» (зри выше), и дальнейшие слова мужика стусывались; но когда мысленная деятельность вновь вступала в свои права, то я видел перед собой та-

кое довольное и добродушное лицо, что невольно говорил себе: «Да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору!» Недоимки все с него сложены, подушная подать предана забвению... чего еще нужно! И он славословит воистину, не так, как культурные люди, когда получают подачку, – с расшаркиванием и целованием в плечико, – а скромно и истово, а именно: ест «добры щи» во свидетельство, что сердце в нем играет под бременем благодарности и ликования.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему – ничего!

Даже свое Монрепо – и его я как-то сумел пристегнуть к мечтаниям о величии России. Представьте себе, что вдруг, по щучьему велению, по моему хотенью, случился такой анекдот. Мой лес из дровяного неожиданно сделался строевым; мои болота внезапно осушились и начали производить не мох, а настоящую съедобную траву; мои пески я утилизировал и обработал под картофельные плантации, а небольшая запашка словно сбесилась, начала родить сам-двадцат⁷. (Увы! в мечтах и не такие метаморфозы возмож-

⁷ Один екатеринославский землевладелец уверял меня, что у него пшеница постоянно родит сам-двадцат, и, в виду моего удивления по этому поводу присовокуплял, что это происходит от того, что у них, в Екатеринославе, не земля, а все целина. Замечательно, что этот самый землевладелец эту самую землю уже лично двадцать лет пашет, но и

ны!) Разве это «не величие России»? И к довершению всей этой чертовщины, в каких-нибудь ста шагах от моего крыльца прошла железная дорога, которая возит не вывезет произведения Монрепо. Капуста, которую едят петербургские чиновники, – это все моя, белоснежная телятина, которой щеголяет английский клуб по субботам, – тоже моя. Огурцы, морковь, репа, прессованное сено, молочные скопы, кормные индейки – всего пропасть и всё мое. А дрова? а рыба, в изобилии извлекаемая из Финского залива? а прочие произведения природы, их же имена ты, Господи, веши? Что, если и во всех других Монрепо идет такая же волшеббно-производительная галиматья, как и в моем? что, если вдруг воспрянули от сна все Проплеванные, все Погореловки, Ненаедовки, все взапуски принялись рожать, и нет на дорогах проезда от массы капусты, огурцов, редьки и прочего?

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? – вот вопрос! Я думаю, однако ж, что не возгордимся, потому что, во-первых, ведь ничего этого на деле нет, а ежели нет ничего, то, стало быть, и во-вторых и в-тре-

за всем тем не только в объявлениях газетных пишет: продается столько-то десятин «целины», – но и сам, по-видимому, верит в подлинность этой «целины»! Точь-в-точь как та легендарная девица, дочь бедных, но благородных родителей, которая будто бы в одно и то же время и сокровище сохранила и капитал приобрела. Но разве это правдоподобно? (Авт.)

тых, все-таки ничего нет.

Во всяком случае, повторяю вновь: мечтать на эту тему – ей-Богу, ничего!

Ничего? но кто же сказал это? Кто же удостоверил, что ничего? А может быть, это-то и есть самое оно. А может быть, тут-то, в этих беспардонных мечтах, и кроется «возбуждение пагубных страстей»! Кто сказал: ничего? Тяпкин-Ляпкин сказал? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкин-Ляпкин, сказали: ничего? И так далее.

Прекрасно. Стало быть, это – не ничего? Так и запишем. Нельзя мечтать о величии России – будем на другие темы мечтать, тем более, что, по культурному нашему званию, нам это ничего не значит. Например, конституционное будущее Болгарии – чем не благодарнейшая из тем? А при обилии досуга даже тем более благодарная, что для развития ее необходимо прибегать к посредничеству телеграфа, то есть посылать вопросные телеграммы и получать ответные. Ан время-то, смотришь, и пройдет.

Сказано – сделано. Посылаю телеграмму N 1-й: «Митрополиту Анфиму. Настоятельно прошу ответить, будет ли у вас конституция?» Через четверть часа получен ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Конституция, сиречь устав о предупреждении и пресечении – будет. Анфим».

Не удовольствовавшись этим объяснением, посылаю телеграмму N 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзарх Анфим уведомляет: будет-де у вас конституция, сиречь исправительный устав. Правда ли?» Через четверть часа ответ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежский асессор Балабанов».

Тогда, чтоб убедиться окончательно, посылаю телеграмму N 3-й: «Благородному господину Занкову. Что же, наконец, у вас будет?» И через новые четверть часа получаю новый ответ: «Будет, что Бог даст. Губернский секретарь Занков».

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопрос о конституционном будущем Болгарии исчерпанным и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анфиму. Пью за болгарский народ!» А через четверть часа получаю ответ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не находим слов выразить, сколь для болгарского народа сие лестно. Анфим».

И таким образом, в какой-нибудь час времени – все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать – ничего?

Но если бы и тут оказалось не «ничего», то, делать нечего, возьмем за бока Афганистан. Ужасно меня с некоторых пор интригует Якуб-хан. Коварен, как всякий восточный человек, и в то же время, подобно

знаменитому своему отцу, склонен к присвоению государственной афганистанской казны. Пойдет он или не пойдет по следам Шир-Али относительно коварного Альбиона? Ежели пойдет, то рано или поздно быть ему водворенным в губернском городе Рязани. Ежели не пойдет, то и тут Рязани ему не миновать. В первом случае – в знак гостеприимства, во втором – в знак забвения бунтов. Но во всяком разе он предварительно вывезет из своего места бесчисленное множество лаков рупий и доставит их в то место, которое ему будет назначено для гостеприимства. Рязань украсится, оплодотворится и в несколько месяцев сделается неузнаваемой. В соборе заблаговестит новый колокол, на пожарном дворе явится новая пожарная труба, а что касается до дамочек, то они изобретут, в пользу Якуб-хана, такое декольте, от которого содрогнутся в гробе кости Шир-Али. Словом сказать, весь обряд гостеприимства будет выполнен в точности. Но что же затем? Затем, разумеется, все пойдет обычным порядком. Сначала явится разбитной малый из местных культурных людей и даст рупиям приличествующее назначение; потом начнется по этому случаю судоговорение, и в Рязань прибудет адвокат и проклянет час своего рождения, доказывая, что назначение рупиям дано вполне правильное и согласное с волей самого истца; и, наконец, Якуб-хану, в

знак окончательного гостеприимства, будет дозволено переехать в Петербург, где он и поступит в ресторан Бореля в качестве служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русские интересы будут при этом так строго соблюдены, что даже «Московские Ведомости» – и те останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать – ничего?

Но ежели и это не «ничего», то к услугам мечтателя найдется в Монрепо не мало и других тем, столь же интересных и уж до такой степени безопасных, что даже покойный цензор Красовский – и тот с удовольствием подписал бы под ними: «Мечтать дозволяется». Во-первых, есть целая область истории, которая представляет такой неисчерпаемый источник всякого рода комбинаций, сопряженных с забвением, что сам мечтательный Погодин – и тот не мог вычерпать его до дна. Возьмите, например, хоть следующие темы:

Что было бы, если б древние новгородцы не последовали совету Гостомысла и не пригласили варягов?

Где был бы центр тяжести, если б вещий Олег взял Константинополь и оставил его за собой?

Какими государственными соображениями руководились удельные князья, ведя друг с другом беспре-рывные войны?

На какой степени гражданского и политического ве-

личия стояла бы в настоящее время Россия, если бы она не была остановлена в своем развитии татарским нашествием?

Кто был первый Лжедмитрий?

Если бы Петр Великий не основал Петербурга, в каком положении находилась бы теперь местность при впадении Невы в Финский залив, и имела ли бы Москва основание завидовать Петербургу (известно, что зависть к Петербургу составляет историческую миссию Москвы в течение более полутора веков)?

Почему, несмотря на сравнительно меньшую численность населения, в Москве больше трактиров и питейных домов, нежели в Петербурге? Почему в Петербурге немыслим трактир Тестова?

Попробуйте заняться хоть одним из этих вопросов, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа – все разом переполнится привидениями. Со всех сторон поползут шепоты, таинственные дуновения, мелькания, словом сказать, вся процедура серьезного исторического, истинно погодинского исследования. И, в заключение, тень Красовского произнесет: «Мечтать дозволяется».

О, тень возлюбленная! не ошибкой ли, однако, высказала ты разрешительную формулу? повтори!

Во-вторых, имеется другая, не менее обширная область – кулинарная. Еще Владимир Великий сказал:

«Веселие Руси пити и ясти», и в этих немногих словах до такой степени верно очертил русскую подоплёку, что даже и донныне русский человек ни на чем с таким удовольствием не останавливает свою мысль, как на еде. А так как объектом для еды служит все разнообразие органической природы, то не трудно себе представить, какое бесчисленное количество механических и химических метаморфоз может произойти в этом безграничном мире чудес, если хозяином в нем явится мечтатель, охотник пожрать!

В-третьих, в-четвертых, в-пятых... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнейшим перечислением подходящих сюжетов и тем. Скажу огулом: мир мечтаний так велик и допускает такое безграничное разнообразие сочетаний, что нет той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснейших сопоставлений.

Итак, я мечтал. Мечтал и чувствовал, как я умираю, естественно и непостыдно умираю. В первый раз в жизни я наслаждался сознанием, что ничто не нарушит моего вольного умирания, что никто не призовет меня к ответу и не напомнит о каких-то обязанностях, что ни одна душа не потребует от меня ни совета, ни помощи, что мне не предстоит никуда спешить, об чем-то беседовать и что-то предпринимать, что ни один орган книгопечатания не обольет меня помоями

сквернословия. Одним словом, что я забыт, совсем забыт.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Вне дома – то же одиночество и та же пустота. По временам парк заволакивался, словно сетью, падающими хлопьями снега; по временам деревья как бы сбрасывали с себя иго оцепенения и, колеблемые ветром, оживали и шевелились; по временам из лесной чащи даже доносился грозный гул. Но взор и слух скоро привыкали и к этим картинам и к этим звукам. Зимняя природа даже и в гневе как-то безоружна, разумеется, для тех, которых нужда не выгоняет из теплой комнаты. Вот в поле, в лесу – там, должно быть, страшно. Можно сбиться с дороги, подвергнуться нападению волков, замерзнуть. Но в комнате, где градусник показывает всегда один и тот же уровень температуры, где и тепло, и светло, и уютно, все эти морозы и вьюги могут даже подать повод для благодарных сопоставлений.

И не только для благодарных, но и для поучительных сопоставлений. Ибо если хорошо быть совсем обеспеченным от морозов и вьюг, то еще большее наслаждение должен ощущать тот, кто, испытав мороз и вьюгу, кто, проплутав до истощения сил по сугробам, вдруг совсем неожиданно обретает спасение в виде жилья. Представьте себе этот почти волшебный

переход от холода к теплу, от мрака к свету, от смерти к жизни; представьте себе эту радость возрождения, радость до того глубокую и яркую, что для нее делаются уже тесными пределы случая, ее породившего. Да, это – радость совсем особенная, лучезарная, ни с чем не сравнимая. Не один *этот* случай осветила она своими лучами; но разом втянула в себя целую жизнь и на все прошлое, на все будущее наложила печать избавления. В эту блаженную минуту нет места ни для опасения, ни для тревог. *Все* опасности миновали, *все* тревоги улеглись; *все* больное, щемящее упразднилось – навсегда. Во всем существе разлилась горячая струя жизни, во всех мыслях царит убеждение, что отныне жизнь уже пойдет не старой, горькой колеей, а совсем новым, радостным порядком. Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это – наслаждение великое, и, с теоретической точки зрения, отсутствие его в жизни людей, проводящих время в теплых и светлых комнатах, представляет даже очень значительный пробел.

Между прочим, я мечтал и об этом, и это были мечтания поистине отрадные. Сначала я душевно скорбел, рисуя себе картину путника, выбивающегося из сил; но так как я человек добрый, то, разумеется, не

оставлял его до конца погибнуть и в критическую минуту поспешал на помощь и предоставлял в его распоряжение неприхотливое, но вполне удовлетворительное жилье. И глубока была моя радость, когда вслед затем перед моими глазами постепенно развертывалась картина возрождения...

Одним словом, я мечтал, мечтал без конца, мечтал обо всем: о прошлом, настоящем и будущем, мечтал смело, в сладкой уверенности, что никто о моих мечтах не узнает и, следовательно, никто меня не подкузьмит. И, проводя время в этих мечтаниях, чувствовал себя удивительно хорошо. До усталости ходил по комнатам и ни на минуту не уличил свою мысль в бездеятельности; потом садился в кресло, закрывал глаза и опять начинал мысленную работу. Даже так называемые «хозяйственные распоряжения» – и те вскоре приняли у меня мечтательный характер. Придет вечером, перед сном, в комнаты старик Лукьяныч и молвит:

– Ну, нынче – зима!

– Ты говоришь: зима?

– Да, зима нынче. И ежели теперича лето с приметами сойдется, так, кажется, конца-краю урожаю не будет!

– Ты думаешь?

– Вот увидите. В прошлом году мы одну только сто-

рону сеном набили, а в нынешнем придется, пожалуй, и на чердаки на скотном сено таскать.

– Гм... это бы...

– Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то зима у меня на памятях всего раз случилась, когда мне еще пятнадцать лет было. И что в ту пору хлеба нажали, что сена накосили – страсть!

– Бог, братец...

– Само собой, Бог! захочет Бог – полны сусеки хлеба насыплем, не захочет – ни пера земля не родит! это что говорить!

Молчание.

– Распоряжений насчет завтрашнего дня не будет?

– Нет, что уж...

– Покойной ночи-с!

И все в доме окончательно стихает. Сперва на скотном дворе потухают огни, потом на кухне замирает последний звук гармоники, потом сторож в последний раз стукнул палкой в стену и забрался в сени спать, а наконец ложусь в постель и я сам...

Но и сон приходит какой-то особенный. Мечтания канувшего дня не прерываются, а только быстрее и отрывочнее следуют одни за другими. Вот и опять «величие России», вот «Якуб-хан», вот «исторические вопросы», а вот и «ну, уж нынче зима!» Не разберешь,

где кончилось бодрствование и где начался сон...

Но в этой-то невозможности что-нибудь «разобрать» именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляет умирающего человека стремиться в Монрепо, чтобы там обрести для себя усыпальницу.

* * *

Но в первых числах марта в мое сердце начали вкрадываться смутные опасения. Прилетели грачи и наполнили парк гамом; почернела дорога. На большом тракте, отделяющемся от моего дома лишь небольшим клочком парка, появились тройки с катающимися, которых, благодаря отсутствию листвы, я мог видеть совершенно отчетливо. Это были наши портерные и питейные дамы, для которых катание на тройках составляет, по исстари заведенному обычаю, единственное великопостное развлечение. По-видимому, им было очень весело, так же как и Грацианову, неизменно сопровождавшему дам на беговых санках. Но в особенности шумным делалось это веселье против моей усадьбы. Тройки замедляли ход, дамы, обративши лицо в сторону моего дома, хохотали так громко, что даже через двойные оконные рамы до меня долетали их ликующие голоса; при этом Гра-

цианов объяснял им, должно быть, нечто очень умирительное. Может быть, он в смешном виде пересказывал испытание, которому меня подвергал, может быть, подметил кое-что из моих привычек и тоже вводил в перл создания.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помехой для моего умирания. Но однажды я заметил нечто не совсем обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсем особенная, охотничья. На пошевнях, покрытых ковром, сидел купец Разуваев, сам правил лошадьми и завивал пристяжных в кольца. Как только показалась эта тройка, Грацианов передал свою одиночку близстоявшему сотскому и пересел в разуваевские пошевни. Затем, пропустивши мимо дамский поезд, друзья остановились прямо против окон моего дома. Разуваев жестикулировал. Грацианов что-то доказывал; оба от времени до времени хохотали. Я видел, как Разуваев поманил пальцем старого Лукьяныча, сидевшего на лавке у ворот, как последний неторопко подошел и, что-то выслушав, сплюнул в сторону, и затем оба друга опять захохотали. Через четверть часа улица опустела, и гуляющие, очевидно, разошлись по кабакам. Но, когда начали спускаться сумерки, разуваевская тройка с двумя седоками по крайней мере раз десять с гамом и свистом пронеслась взад и вперед

мимо моего дома, посылая по сторонам комья грязи и рыхлого снега и взбудораживая угомонившихся в гнездах грачей.

Перед сном Лукьяныч имел по этому поводу со мной объяснение.

– Разуваев мимо нас сегодня озоровал.

– Видел.

– Стало быть, ему можно?

– Стало быть.

– Стало быть, ежели он ночью... Испугает, навек уродом сделает... и это можно?

– Вероятно, можно.

Лукьяныч только головой мотнул на мой ответ.

– Давеча меня поманил: правда ли, говорит, что Матрена-скотница (Матрена – почтенная женщина лет под шестьдесят) в грехе состоит?

– С кем? сказывал?

– Известно, с кем.

– Со мной?

– Стало быть.

Молчание.

– А потом опять подъехал. Коли, говорит, Матрена не виновата, так чем же твой барин питается? И это, значит, можно?

– Должно быть. Вот ты и сам с ним разговариваешь...

– А я что же могу! Я думал, он об деле хочет говорить, а он вон что! По-моему, ему бы за это в шею накласть – вот и все.

– А ты его спроси сначала, согласится ли он?

– Это, чай, и без спросу можно. При папеньке при вашем, царство небесное, коли бы этакой случай вышел...

– То было при папеньке, а то теперь.

– Так, значит, и пуцай озорует?

– И пуцай!

– Покойной ночи-с!

Несколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды даже, как предсказал Лукьяныч, Разуваев угостил меня им в глухую ночь. Проскакал несчетное число раз мимо моей усадьбы во весь опор, крича: караул! режут! пожар! И во всех этих parties de plaisir⁸ неизменно участвовал Грацианов. Я понял, что против меня затеяна интрига.

Очевидно, меня хотят выжить. Везде кругом кабаки, везде веселье идет, один я заперся от всех и умираю. И при этом как-то странно и неестественно себя веду, так что и приноровиться ко мне невозможно. Сперва не «якшался» и задираю нос, потом смалодушничал и начал «якшаться», и вот, в ту самую минуту, когда все сердца понеслись мне навстречу, когда все нача-

⁸ Развлечения (фр.).

ли надеяться, что я буду приглашать деревенских девок водить хороводы у себя перед домом и оделять их пряниками, я вдруг опять заперся и перестал «якшаться». Даже батюшка скандализировался моим поведением и, дабы не преогорчить своих прочих духовных детей, стал избегать свиданий со мною. Ясно, что Разуваев был в этом месте гораздо более ко двору, нежели я.

Разуваев жил от меня верстах в пяти, снимал рощи и отправлял в город барки с дровами. Сверх того он занимался и другими операциями, объектом которых обыкновенно служил мужик. И он был веселый, и жена у него была веселая. Дом их, небольшой и невзрачный, стоял у лесной опушки, так что из окон никакого другого вида не было, кроме громадного пространства, сплошь усеянного пнями. Но хозяева были гостеприимные, и пиროванье шло в этом домишке великое.

Ко времени, о котором идет речь, доходил срок арендуемым Разуваевым рощам. И вот он начал задумываться. Капитал свободный есть, торговые связи тоже заведены, а главное, место насижено и облюбовано. Едет он по селу улицей – все шапки снимают; приедет в церковь к обедне – станет с супругой впереди у крылоса, подтягивает дьячку и любуется на пожертвованное им паникадило; после обедни подой-

дет ко кресту первым после Грацианова и получит от батюшки заздравную просвиру. Всем с ним повадно, всем по себе, потому что он на все руки: и выпить не дурак, и пошутить охоч, и сплясать может. Поставит на голову стакан с пивом и спляшет. Батюшка сколько раз мне говорил: «Вот у Разуваева икру подают – белужью, настоящую! А однажды из города копченую стерлядь привез – даже и до сего часа забыть не могу!» А матушка, вздохнув, прибавляла: «По здешнему месту, только и полакомиться что у Разуваевых!» Даже так называемая чернядь – и та, как полоумная, сбегалась со всех сторон, когда на село приезжал Разуваев. Потому что он вдруг, того гляди, велит песни петь и начнет в народ гривенники на драку бросать!

Одним словом, всеми он был любим, для всех желателен. Мужик он был не то чтобы молодой, но в пору, статный, широкоплечий, лицо имел русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, светлорусую. И жена у него была такая же русская; круглолицая, белотелая, полногрудая, румяная, с веселыми, слегка бесстыжими глазами навывкате.

Охотники были оба песни попеть и пели мастерски, особенно хоровые, подблюдные.

Давно уж до меня доходили слухи, что Разуваев ищет купить себе усадьбу, но только чтобы непременно за грош. Думал было он сначала на порожнем

участке новый дом взбодрить, но рассчитал, что за грош нового заведенья никак устроить нельзя. Да по-ди еще жди, когда еще оно в настоящий вид придет, а до тех пор торчи на тычке, жарься летом на припеке, а зимой слушай, как ветер воет. Начнешь парки разводить, сады сажать – смотришь, ан из десяти деревьев одно принялось, а прочие посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крепостные были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все в высь и в ширь, словно по щучьему велению. Тогда-то и было положено начало всем паркам и садам, которые мы видим, а теперь не до парков. Так вот эту-кую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды бы в парках, и караси бы в прудах водились, и плодовитый сад чтобы тут же находился, а в бочку бы харчевенку с продажей распивочно и на вынос поставить. Да за грош бы, непременно за грош.

Сколько тут пота мужичьего пролилось, сколько ба-бьих слез эти парки видели – Разуваев об этом не хо-чет и знать. До сих пор старики поминают: «Вон в этом месте трясинка была, так мы мешками землю таскали – смотри, каку горушу взбодрили!» – но Разуваеву и до этого дела нет. Он знает только, что современно-му помещику все это не к рукам, да и сам помещик, по нынешнему времени, тут не ко двору. Помещик –

он человек неверный, а нужны люди постоянные, вероятные, то есть либо кабатчики, либо оголтелые мужики. А сверх того, Разуваев имеет простодушно-наглое убеждение, что стоит только помахать у помещика под носом ассигнацией, чтоб он сейчас же, от одного ассигнационного запаха, впал в изнеможение.

И вот, благодаря этой наглости, с одной стороны, и сознанию беззащитности, с другой, мое сладкое умирание было самым нахальным образом прервано. Уже с самого начала открытия неприязненных действий, с появлением первых гиканий, я смутно почувствовал, что мое дело не выгорит, что, так или иначе, я должен буду уступить силе обстоятельств. В самом деле, что я мог предпринять, чтобы оградить себя от Разуваева? Жаловаться на него – куда? И притом что-нибудь одно: или умирать, или утруждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тем и другим – разве это с чем-нибудь согласно? Если же прибегнуть к партикулярным мерам взыскания, то и тут ничего не поделаешь. Плюнешь Разуваеву в лицо – он утрется, своротишь ему скулу – он в баню сходит и опять ее на старое место вправит. Словом сказать, с какой стороны к нему ни приступись, – он неуязвим. Пожалуй, еще запоет: «Веселися, храбрый росс!» и заставит слушать себя стоя...

В одно прекрасное утро, взглянув в окно, обращен-

ное в парк, я увидел, что по одной из расчищенных для моих прогулок аллей ходят двое мужчин, посматривают кругом хозяйским глазом, меряют шагами пространство и даже деревья пересчитывают. Вглядев-шись пристальнее, я узнал в посетителях Разуваева и Грацианова. Вот они скрылись в чаще, вот опять выглянули, подошли к пруду, причем Разуваев сплюнул на посиневший лед; вот подошли к решетке, отделяющей огород от сада, и что-то высчитывают – должно быть, сколько тут гряд можно обработать и с чем именно. Вот, наконец, они возвращаются, опять останавливаются и толкуют, вот подходят к дому...

Через минуту в передней у меня раздался звонок...

FINIS ⁹ МОНРЕПО

Когда продавец недвижимого имущества входит в сношения с покупателем, то советуем первому не только не утаивать недостатков продаваемого имущества, но объяснять оные с полною откровенностью. Само собою, впрочем, разумеется, что умный продавец никогда не скажет, что имущество его ничего не стоит, но сошлется или на недостаток капиталов или на собственные свои, владельца, невежество и нерадивость. Такая откровенность почти всегда удаётся, ибо всякий покупатель непременно мнит себя агрономом, а ежели у него, вдобавок, есть несколько лишних тысяч рублей, то к таковому самомнению обыкновенно присоединяется уверенность, что, по мере размена крупных ассигнаций на мелкие, негодное имущество будет постепенно превращаться в золотое дно. Один наш знакомый, например, так рекомендовал свое Монрепо лицу, интересовавшемуся приобретением оногo:

«Земля у меня, – писал он, – отчасти худородная, отчасти из песков состоящая, но ежели приложить труд, умение и капитал, то... Бажанов пишет: извест-

⁹ Конец (лат.)

но, что даже зыбучие пески, ежели... Советов повествует: ежели зыбучие пески... Но в особенности рекомендую некоторые подозрительного свойства залежи, которых в имении очень достаточно и которые, по недостатку капиталов, не были, к сожалению, подвергнуты исследованию. Судя, однако ж, по ржавчине, покрывающей воды и растущие злаки, можно предположить...»

И что же! откровенность эта имела самый полный успех! Прошло очень немного времени, как в Монрепо уже разгуливал новый владелец и, в свою очередь, обдумывал наилучшую для одного рекомендацию!

Из неизданного сочинения «Советы благоразумия при продаже земельных недвижимых имуществ».

Разуваев предстал передо мной радостный, румяный, светлый. Он уверенно протянул мне руку, держа ее ладонью вверх.

– Ну, барин, по рукам! – воскликнул он, по-видимому, не питая ни малейшего сомнения, что именно эти самые слова ему сказать надлежит.

– По какому случаю?

– Да так уж, хлопай! В накладе не будешь! хорошее слово услышишь!

– Покуда что услышу, а до тех пор лучше было бы, кабы вы бесцеремонность-то посократили.

Разуваев взглянул на меня, слегка подбоченился и грустно покачал головой.

– Ах, барин вы, барин! Погляжу я на вас, на бар, всё-то вы артачитесь!

И затем, вынув из кармана большой и туго набитый бумажник, присовокупил:

– Вот!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. В последнее время русское общество выделило из себя нечто на манер буржуазии, то есть новый культурный слой, состоящий из кабатчиков, процентщиков, железнодорожников, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов. В короткий срок эта празднующаяся тля успела опутать все наши палестины; в каждом углу она сосет, точит, разоряет и, вдобавок, нахальничает. В больших центрах она теряется в массе прочих празднующихся и потому не слишком бьет в глаза, но в малых городах и в особенности в деревнях она положительно подла и невыносима. Это – ублюдки крепостного права, выбивающиеся из всех сил, чтобы восстановить оное в свою пользу, в форме менее разбойнической, но несомненно более воровской.

Помещик, еще недавний и полновластный обладатель сих мест, исчез почти совершенно. Он захужал, струсил и потому или бежал, или сидит спрятавшись,

в ожидании, что вот-вот сейчас побежит. Мужик ничего от него не ждет, буржуа-миродед смотрит так, что только не говорит: а вот я тебя сейчас слопаю; даже поп – и тот не идет к нему славить по праздникам, ни о чем не докучает, а при встречах впадает в учительный тон.

Оставшись с клочками земли, которые сам облюбовал при составлении уставных грамот и не без греха утянул от крестьянских наделов, помещик не знает, что с ними делать, как их сберечь. Видит сам, что он к делу не подготовлен, на выдумки не горазд, да притом и ленив, и что, следовательно, что бы он ни предпринял, ничего у него не выйдет. Между тем надо жить. И жить не властью имеющим, не привилегированным, а заурядным партикулярным человеком. И прежде был он негоразд и неретив, но прежде у него был под руками «верный человек», который и распоряжался, и присматривал за него, а ему только денежки на стол выкладывал: пей, ешь и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лет, как «верного человека» и след простыл. «Нет верных людей! пропал, изворовался верный человек!» – вопиют во всех концах рассеянные остатки старинного барства, и вопиют не напрасно, ибо каждому из них предстоит ухитить разрушающееся гнездо, да и в домашнем обиходе дворянский обычай соблюсти, то есть иметь чай, сахар, водку, табак. На все это потребен рубль, рубль и рубль,

а откуда его добыть тому, кто «верного человека» лишился и не успел проникнуть ни в земство, ни в мировые учреждения?

А «верный человек» притаился тут же под боком и обрастает, да обрастает себе полегоньку. Помещик Сидор Кондратьич Прогорелов некогда звал его Егоркой, потом стал звать Егором Ивановым, потом Егором Иванычем, а теперь уже и прямо произносит полный титул: Егор Иваныч господин Груздѐв. Егорка прижал в свое время у Сидора Кондратьича несколько сотен рублей; Егор Иванов опутал ими деревню; Егор Иваныч съездил в город, узнал, где раки зимуют, и открыл кабак, а при оном и лавку, в качестве подспорья к кабаку; а господин Груздѐв уж о том мечтает, как бы ему «банку» устроить и в конец родную Палестину слопать. Тщетно Сидор Кондратьич из глубины взволнованной души вопиет: «Давно ли Егорка при мне в прохвостах состоял!» На эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражает: «Одни это с вашей стороны, Сидор Кондратьич, несостоящие слова!»

Однако ж и Егорка выступает на арену деятельности не бог знает с каким запасом. И он негоразд и невежествен, и он ретив только галдеть да зубы заговаривать. Но у него есть готовность кровопийествовать – и это значительно помогает ему. Готовность эту он выработал еще в то время, когда в «подлом ви-

де» состоял, но тогда он употреблял ее за счет своего патрона и за это-то именно и получил титул «верного человека». Теперь он пользуется ею уж «гля себя» и пользуется, разумеется, шире, рискованнее. Но, сверх того, у него есть и еще подспорье: он совсем не думает о том, что ожидает его впереди. Может быть, из него выйдет *господин* Груздёв, а может быть, он угодит в острог. Разумеется, лучше сделаться *господином* Груздёвым, но, с другой стороны, и в Сибири люди живут. Не выгорело – только и всего; а чтобы со-вестно было или больно – ни капельки! Понятно, что, заручившись двумя столь драгоценными качествами, он всякую мышь, всякую букашку, в траве ползущую, – все видит.

И вот, наконец, свершилось. Миновавши чудесным образом каторгу, Егорка откуда-то добывает себе шитый мундир и окончательно делается Егором Иванычем господином Груздёвым. Он пьет кровь уже въявь и в то же время сознает себя «столпом». Все кругом «подражает» ему, заискивает, льстит. Уездные власти заезжают к нему и по пути и без пути, пьют в его доме, закусывают и в случае административных затруднений прибегают к его помощи. Кто купит недоимщицкий скот? – Егор Иваныч. К кому обратиться с приглашением о пожертвовании? – к Егору Иванычу. А глядя на властей, и помельче сошка чувствует, как раскипает-

ся у ней сердце усердием к Егору Иванычу. Батюшка обедни не начинает до приезда его в храм; волостной старшина совместно с писарем контракты для него сочиняют, коими закрепляют в пользу его степенства всю волость; а сотские и десятские все глаза проглядели, не покажется ли где Егор Иваныч, чтобы броситься вперед и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее «подражание», Егорка начинает больше и больше входить в азарт. Он уже не раз видел себя в мечтах перебравшимся в Петербург и оттуда делающим экскурсии «гля дебоширства» в Париж, Ниццу, Баден-Баден и пр.; но покуда это – еще идеал более или менее отдаленного будущего. Покамест ему и дома жить хорошо. Только вот Сидор Кондратьич словно бельмо на глазу у него торчит. Струсил он, захужал, а все-таки помнит, что Егорка в прохвостах у него состоял. Да и гнездо у него такое насижено, как будто бы именно тут, а не в ином месте «господину» быть надлежит. Знает Егорка, что все это, в сущности, пустяки, что не в преданиях прошлого сила, – и все-таки кипятится: как-никак, а надо Сидора Кондратьича из здешнего места выкурить, надо гнездом его завладеть. Ибо тогда и только тогда он воистину *господин* Груздѐв будет.

Сказано – сделано. Предпринимается целый ряд подвохов. Еще будучи в «подлом виде», Егорка, вер-

ный человек, до тонкости вызнал Сидора Кондратьича и очень хорошо понимает, на какой струне надлежит играть, чтоб заставить его лезть на стену или ввергнуть в уныние. И вот не проходит и нескольких месяцев, как бывший властитель сих мест видит себя лишенным огня и воды и делается притчей во языцех. Рабочие к нему не идут, поля у него не родят, коровы его не доят, овцы чихают... дурррак! Даже чернядь, которая специально рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочет, слушая анекдоты об егоркиных подвохах и прогореловском простодушии. А ежели не донимают простые подвохи, то пускаются в ход подвохи сложные, как-то: доносы, нашептывания, раздаются слова: книжки читает, народ смущает, революции пускает. Долго не верит Сидор Кондратьич ушам и глазам своим, но наконец убеждается, что надо бежать, бежать без оглядки, сейчас...

Я не утверждаю, разумеется, что все написанное выше составляет общее правило. Есть и тут исключения, но их так мало и они так своеобразны, что большинству, состоящему из простых смертных, трудно и мечтать о том, чтоб попасть в ряды счастливых. Вот эти исключения. Во-первых, деятели земских и мировых учреждений, потому что они сами всегда могут притеснить; во-вторых, землевладельцы из числа крупных петербургских чиновников, потому что

они могут содействовать груздѣвским предприятиям и, сверх того, служить украшением груздѣвских семейных торжеств, как-то: крестин, свадеб и пр.; в-третьих, землевладельцы из ряду вон богатые, считающие за собой земли десятками тысяч десятин, которые покуда еще игнорируют Груздѣвых и отсылают их для объяснений в конторы; и в-четвертых, землевладельцы не особенно влиятельные, но обладающие атлетическим телосложением и способные произвести ручную расправу. Вот единственные лица, перед которыми новоявленный русский буржуа до поры до времени не нахальствует.

Повторяю: это совсем не тот буржуа, которому удалось неслыханным трудолюбием и пристальным изучением профессии (хотя и не без участия кровопивства) завоевать себе положение в обществе; это просто праздный, невежественный и притом ленивейший забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от каторги и затем слопать кишащие вокруг него массы «рохлей», «ротозеев» и «дураков».

Хотя Разуваев еще мелко плавал, но уже был, так сказать, на линии Груздѣвых. По крайней мере, идея грабежа была уже вполне им усвоена. Я знал его очень давно, еще в то время, когда он состоял дворовым человеком моего соседа по прежнему имению,

корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваев, молодой и красивый парень, пользовался доверием корнетши Отлетаевой; а камеристка последней, Аннушка, тоже молодая и красивая девица, пользовалась таким же доверием со стороны самого корнета. Года два или три эти люди жили вполне безмятежно, довольные собой, как вдруг эмансипация все это счастье перевернула вверх дном. И Анатолий и Аннушка тотчас же и наотрез отказались от наперсничества, хотя корнет и корнетша доказывали, что имеют право и еще в течение двух лет пользоваться их услугами. Дело не обошлось без формального разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тем, что возмутившимся «хамам» выданы были увольнительные свидетельства. Немедленно после этого молодая чета вступила в законный брак, а затем и навсегда исчезла из родных палестин. И вот, спустя пятнадцать лет, я вновь встретился с ними, и встретился как чужой, потому что Разуваев ни словом, ни движением не выдал, что когда-то знал меня.

Как бы то ни было, но в эту минуту нахальство Разуваева как-то неприятно на меня подействовало. К сожалению, ежели я способен понимать (а стало быть, и оправдывать) известные жизненные явления, то не всегда имею достаточно выдержки, чтобы относиться к ним объективно, когда они становятся ко мне лицом

к лицу. Поэтому я вместо ответа указал Разуваеву на дверь, и он был так любезен, что сейчас же последовал моему молчаливому приглашению.

Но тут-то именно и начались для меня глупейшие испытания. Вечером того же дня явился Лукьяныч и, вместо того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступил в собеседование.

– Разуваева-то вы давеча прогнали?

– Я его к себе не приглашал, а стало быть, и от себя не прогонял. А так как он ворвался ко мне нахалом, то, разумеется, я...

– Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьяныч помолчал с минуту, потом крякнул, переступил с ноги на ногу и как-то особенно пошевелил плечами. Значит, будет продолжение.

– А он к вам за делом приезжал.

– Да, показывал бумажник; вот за это-то я и указал ему на дверь.

– Угоду он у вас купить охотится – оттого и бумажник показывал. Чтоб, значит, сумления вы не имели.

– А коли дело хочет делать, так должен говорить по-человечьему, а не махать бумажником у меня перед глазами.

– Так-то оно так.

Опять минута молчания и опять переступание с ноги на ногу.

– Нехорошо в здешнем месте, нескладно.

– Что так?

– Народу настоящего нет. Мелкий народ, гадёнок.

Глаза белые, лопочут по-своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни от него резонт выслушать... право!

– Так ведь это не со вчерашнего дня.

– То-то, говорю: нехорошо здесь. Сидишь, молчишь

– того гляди, и остатний ум промолчишь.

– Да ты сказывай прямо: с Разуваевым, что ли, разговаривал?

– А хоть бы и с Разуваевым... Разуваев сам по себе, а я сам по себе.

– Ну, хорошо; продать так продать. А куда потом деться? надо же где-нибудь помирать?

– Я в свое место уйду, к Успленью-матушке.

– А я куда уйду?

– Неужто ж местов не найдется!

– То-то вот и есть, что нынче нигде притаиться нельзя. Только что затворишься – смотришь, ан кто-нибудь и заглянул.

– Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорил я тогда: не нужно мужикам Светлички отдавать – нет, отдали. А пустошоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинок – в самую могуту! И лесок березовый по ней, грибов сколько, всё белые.

Все село туда за грибами ходит. Выстроили бы там домик, в препорцию; как захотели, так и жили бы.

– Да ты к чему это говоришь? уйти, что ли, от меня хочешь?

– Уйти мне от вас никак невозможно. Я покойному вашему папеньке образ снимал, чтоб быть, значит, за- всегда при вас. А только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо здесь.

– Стало быть, продать?

– Это как вам будет угодно.

– И опять искать?

– И опять сыскать тоже. Только уж надо с умом. Чтоб Разуваевых, значит, не было. Вон он и теперь свищет да гамит по ночам, а летом, пожалуй, и вовсе в трубу трубить будет... По-прежнему, по-старинному, в шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не дозволено.

– Чудак! да ведь и там и во всяком месте свой Разуваев найдется!

– На что такое место выбирать? Надо такое изобрать, – чтобы никем-никого, oprичь своих. Живем, значит, одни, ни мы никого не замаем, ни нас никто не замай. Вот какое место искать нужно.

– Ну, прощай покуда.

– Спокойной ночи-с.

Всю ночь я не мог заснуть. Все мне представлялся

вопрос: в самом деле, что я буду делать, если Разуваеву вздумается по ночам в трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно быть, уж это судьба такая: насчет чтений строго, а в трубу трубить у соседа под ухом – можно. Весь арсенал воздействия, кажется, во всякое время налицо: и ежовые рукавицы, и бараний рог, и злачные места – а кому они служат защитой? Хорошо еще, что не все знают, что озорничать свободно, – иначе все, у кого мало-мальски досуг есть, непременно затрубили бы в трубы. Как тут быть? неужто приносить жалобы, подавать прошения, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто, наконец, бежать?

И на другой день утром голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродил я по комнатам и от времени до времени посматривал в окно, словно желая удостовериться: все ли стоит на старом месте и не бежало ли к Разуваеву? Март подходил уж к концу; время стояло хмурое, хотя в воздухе все-таки чуялась близость весны. Деревья в парке стояли обнаженные, мокрые; на цветнике перед домом снег посинел и, весь источенный, долеживал последний срок; дорожки по местам пестрели желтыми пятнами; несколько поодаль, на огороде, виднелись совсем черные гряды, а около парников шла усиленная деятельность. За зиму рабочий люд отдохнул и приготавлился к се-

ръемному труду. Вот и я за зиму отдохнул и przygotowляюсь продолжать отдыхать и летом. Какой отдых приятнее: зимний или летний? – оба в своем роде хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя в туфлях из комнаты в комнату; летом хорошо отдыхать, бродя по аллеям и внимая пению зябликов и чижей. Но ежели все сложилось так хорошо, – зачем же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право он имеет прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мешаю и что вообще я здесь не ко двору?

Среди этих сетований явился давно небывалый гость: батюшка. На вопрос: чем потчевать? он только горько усмехнулся, как бы вопрошая: а какие теперь дни? забыл?

– Не полагается?

– То-то, что не полагается. И из мирян благочестивые – и те ни вина, ни елея не дерзают.

Мы оба несколько минут помолчали, слегка удрученные.

– Был я у вас на мельнице, – начал батюшка, – полезное заведенье!

– Выгоды мало приносит, батюшка.

– И выгода будет, ежели к рукам. Коли помольцев мало, самим по осени, в дешевое время, зерно можно скупать, а весной, в дорогое время, мукой подавать – убытка не будет. Вот тоже огород у вас. Место об-

ширное, сколько одной обощи насадить можно, окромя ягод и всего прочего!

– И сажаем, батюшка, да тоже без особенной выгоды. Сами, должно быть, потребляем, а на сторону мало продаем.

– И на сторону можно бы продавать, коли с разумением. Возьмем хоть бы ягоды: земляника, малина, сморода – на всё покупатель найдется.

– Кабы был покупатель – отчего бы не продать!

– Искать, сударь, надо – и найдется. Толцые и отверзется. По здешнему месту да покупателя не сыскать! Да тут на одном огурце фортуны сделать можно.

Однако ж, воспоминание об овощах (особенно ежели с елеем), по-видимому, подействовало на батюшку раздражительно. Он слегка поперхнулся, провел рукою по волосам, как бы отгоняя «мечтание», потом вздохнул и перешел к злакам.

– Вот, тоже луга у вас. Место здесь потное, доброе, только ума требует. А вы сеете-сеете, и все у вас кислица заместо тимофеевки родится.

– Так, стало быть, Богу угодно, батюшка.

– Знаю, что без Бога нельзя. Прогневлять его не следует – вот что главнее всего. А затем и самому необходимо заботу прилагать, дабы Бог на наши благополезные труды благосердным оком взирал. Вот тогда будет родиться не кислица, а Тимофеева трава.

– Что ж, батюшка, кажется, я ничего такого не делаю, за что бы Богу гневаться на меня.

– То-то и есть, что «не делать»-то мы все мастера, а нужно «делать», да только так «делать», чтоб Богу приятно было. Тогда у нас будет кормов изобилие. и сами будем сыты, и скотины не избидим. Скажем, например, о картофеле. Плантации вы завели значительные, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а, между прочим, добрую половину свиньям скормили. Свиньи же, по неимению борова, плода не принесли.

Последнее замечание поразило меня. В самом деле, меня преследует неудача особого рода. На скотном дворе у меня мужской пол положительно не в авантаже. Третий год, например, мы ищем селезня для уток и что ни купим – опять окажется утка. И вот, вследствие этого преобладания женского элемента над мужским, куры не несутся, коровы доят мало и телются не ежегодно. А одна корова так положительно добродетельная. В течение четырех лет всего один раз телилась, да и то самым необыкновенным образом. Никто ничего не подозревал, а она, между тем, однажды вечером не пришла со стадом домой, а на утро только солнышко встало, слышим: мычит, умница, у ворот, а за нею теленочек. Радостям и изумлениям не было конца. «Вот умница! вот красавица! и где

это она? и когда это она?» – сыпалось на нее со всех сторон, и всякий спешил чем-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я и подарил «Умнице» «Домашнюю Беседу» за целый год. Но с тех пор «Умница» – ни гугу. Покушает, ляжет, взглянет на небо, зажмурит глаза – и только. Не раз я спрашивал у Лукьяныча, что за причина такая? Но у него всегда один ответ: либо «стало быть, петухи своо дела не понимают», либо «стало быть, бык не солСщ попался». Прекрасно; но кто же должен за этим наблюдать?!

Разумеется, в виду этих фактов я ничего дельного на укоризны батюшки возразить не мог.

– Опять же лес, – продолжал между тем батюшка, – с тех пор, как имение к вам перешло, он даже в росте прибавляться перестал. Мужики в нем жердняк рубят, бабы – веники режут. А ежели бы этот самый лес да в надежные руки – он бы процент принес!

Я молчал, потому что сознавал батюшкину правду, как она ни была для меня обидна. А батюшка все больше и больше хмурил брови и начал даже раздражаться.

– Куры не несутся, – говорил он негодующим голосом, – коровы молока не дают, поля не родят, мельница издержек не окупает, лес надлежащего прироста не дает – по-вашему, как это называется?

Я так и ждал, что он вынет из кармана листок «Мос-

ковских Ведомостей» и закричит: «Измена!»

– А по-моему, – продолжал он, – это и для правительства прямой ущерб. Правительство источников новых не видит, а стало быть, и в обложениях препону находит. В случае, например, войны – как тут быть? А кроме того, и местность здешняя терпит. Скольким сырым и неимущим было бы существование обеспечено, если б с вашей стороны приличное направление сельскохозяйственной деятельности было дано! А ведь и по христианству, сударь, грешно сырых не призирать!

Батюшка опять-таки был прав; но так как он рассердился, то, по закону возмездия, счел нужным рассердиться и я.

– Ну-ну, батя! – сказал я, – увещевать отчего не увещевать, да не до седьмого пота! Куры яиц не несут, а он правительство приплел... ишь ведь! Вон я намерен в газетах читать: такой же батя, как и вы, опасение выражал, дабы хорошие семена не были хищными птицами позобаны. Хоть я и не приравниваю себя к «добрым семенам» – где уж! – а сдается, будто вы с Разуваевым сзобать меня собрались.

– Что вы! Христос с вами! – смягчился батюшка, – я ведь для вашей же пользы! Вижу, что ни в чем благопоспешения нет, думаю: кому же, как не пастырю, о сем предстательствовать!

– Нет, вы лучше прямо скажите: Разуваев вас ко мне подослал?

Батюшка слегка крякнул и уж совсем было сконфузился, но сейчас же, впрочем, оправился.

– А хоть бы и Разуваев? отчего же бы и от него поручения не принять, ежели из того обоюдная польза произойти должна? В сих случаях пастырю даже в обязанность вменяется...

– Позвольте, да разве я в газетах публиковал или кому сказывал, что дачу продаю?

– Об этом, конечно, не слыхал, а только для всех видимо. Призору настоящего нет, предприятий тоже не видится – вот и сдается, словно бы дело к недалежному концу приближается.

– Вы так полагаете?

– Вместе с прочими и я. Нередко мы с попадьей про вас поминаем: совсем не так господин устроился, как ему надлежит! Да ведь и в самом деле, где, сударь, вам за экой угодой самим везде усмотреть!

– А как бы, по-вашему, мне устроиться надлежало?

– Да так думается: десятинки две-три, не больше. Домичек небольшой, садик при нем, аллея для прохладности... чисто, аккуратно! А из живности: курочек с пяток, ну, коровка, чтоб молочко свое было.

– За этим, значит, я буду в состоянии усмотреть?

– Где и сами присмотрите, а где и Лукьяныч помо-

жет. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтоб за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорил мне вчера Лукьяныч. Да я и сам – разве я, в сущности, когда-нибудь мечтал о другом! Пять курочек и одна коровка – вот все, что мне нужно, все, с чем я могу справиться! Да и это нужно совсем не для того, что оно в самом деле «нужно», а только для того, чтоб около дома не было уж чересчур безмолвно, чтобы что-нибудь поблизости мычало, кудахтало. Взял бы я в товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слушал бы, как они, с утра прикончив с делами, взапуски зевают и чешутся спинами об дверные косяки. И мне было бы хорошо, и всем было бы хорошо. Правительство находило бы новые источники, а Разуваев призирил бы сырых и неимущих, предоставляя им пахать землю, полоть гряды в огороде и пр. Тем не менее я не решился в эту минуту сознаться перед батюшкой, что он отгадал мои тайные помышления.

– Благодарю за предикю, – сказал я, – но откровенно сознаюсь, что таковые бывают приятны лишь во благовремени. Так и Разуваеву передайте.

На этот раз батюшка взаправду огорчился и даже слегка побелел в лице. Он поспешно засучил рукава своей ряски, взял шляпу и стал искать глазами образа.

– Образок-то маленький, – сказал он, – сразу и не отыщешь!

Он произнес это с улыбочкой, что, впрочем, не мешало мне прочесть на его лице: «*Материалы!!* Правительству новых источников дохода не предоставляется – первое; пастырей духовных не чтит и советами их небрежет – второе».

– Говеть-то будете? – спросил он уже совсем умиленным голосом.

– Я, батюшка, в городе...

Он радушно пожал мне руку на прощание, но уверению моему веры не дал, и на лице его я прочитал новый «материал»: «утверждает, якобы говел в городе, но навряд ли – третье».

Распростившись с батюшкой, я вышел из дому и направился в огород. Там, около парников, сидел садовник Артемий, порядочно навеселе, и роптал:

– Какой это навоз! – вопиял он, – разве на таком навозе может настоящая обочья вырасти?

С этими словами он нагнулся, зачерпнул из парника рукой и поднес горсть к самому моему лицу.

– Вот, сударь, извольте смотреть!

И затем, не выжидая моего ответа, продолжал:

– Навоз для парников должен быть конский, чистый... одно чтобы кало! А у нас как? Я говорю: давай мне навозу чистого, чтобы, значит, все одно как печь,

а Лукьяныч: ступай в свиной хлев, там про тебя много припасено! Разве так возможно... ах-ах-ах!

– Ну, старик, как-нибудь...

– Позвольте вам, господин, доложить: и вас за эти самые слова похвалить нельзя. Потому я – садовник, и всякий, значит, берет это в рассуждение. Теперича вы, например, усадьбу свою продавать вздумали... хорошо! Приходит, значит, покупатель и первым делом: садовник! кажи парники! Что я ему покажу? А почему, скажет, в парниках у тебя ничего не растет? А?

Но я уже шел дальше, на скотный, и только слышал, как в догонку мне укоризненно раздавалось:

– Я выпил... это действительно! да ведь не на ваши, а на свои... ах, господин, господин!

На скотном меня ждала радость: «Умница» опять отелилась.

– Телочку принесла... пестренькую! – радовалась старуха Матрена, но вдруг словно спохватилась, вздохнула и прибавила: – А по-настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

– Отчего так?

– Все равно резать велите; бычка не так бы жалко.

– Почему же ты думаешь, что я резать велю?

– Так неужто ж Разуваеву отдавать? будет с него, толстомясого, и старых коров. Вон и Машка пороситься собралась – стало быть, и поросят для Разуваева

беречи будете?

Решительно, даже кругом меня, и в доме и во дворе, все в заговоре. Положим, это не злостный заговор, а, напротив, унылый, жалеющий, но все-таки заговор. Никто в меня не верит, никто от меня ничего солидного не ждет. Вот Разуваев – другое дело! Этот подтянет! Он свиной навоз в конский обратит! он заставит коров доить! он такого петуха предоставит, что куры только ахнут!

Все боятся Разуваева, никто не любит его, и в то же время все сознают, что Разуваева им не миновать. Вот уж полгода, как рабочие мои предчувствуют это, и в моих глазах самым заискивающим образом снимают шапки перед ним.

Продолжая мою экскурсию, прихожу к сенному сараю; там работники: первый Иван да другой Иван прошлогоднее сено перебивают и для чего-то с одной стороны на другую его перетаскивают.

– Что это вам вздумалось?

– Федот Лукьяныч велел.

– Зачем?

– У нас спереди-то с гнильцой сено лежало, а сзади зеленое, вёдреное; так теперь похуже-то сено к стене переложим, а хорошее будет впереди.

– Сами себя, стало быть, тешить хотите?

– Нет, а на случай, ежели примерно покупатель...

Я прекращаю разговор и спрашиваю:

– Где Лукьяныч?

– С Андреем за реку в лес пошел.

– Зачем же Андрея взял?

– У нас в прошлом году за рекой порубочка была, так хворостку пошли на это место покидать, чтоб покупателю, значит...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотр. «Неужто же я в самом деле продаю? – спрашиваю я себя. – Ежели продаю, то каким же образом я как будто не сознаю этого? ежели же не продаю, так ведь это просто разорение: никто никакой работы не делает, а все только дыры замазывают да приготовляются кому-то показать товар лицом».

– Стакнулись, что ли, вы с Разуваевым? – накинулся я на Лукьяныча, как только увидел его.

– Зачем с Разуваевым! Свет не клином сошелся; может, и окромя покупатель сыщется!

Он высказал это с такой невозмутимой уверенностью, что мне ничего другого не оставалось, как замолчать.

Разумеется, молчать – самое лучшее. Но как молчать, когда булавки со всех сторон так и впиваются в вас? как молчать, ежели комнаты не топлены, ежели вы ежечасно рискуете остаться в положении человека, выброшенного на необитаемый остров, ежели са-

мые обыкновенные жизненные удобства ежеминутно грозят сделаться для вас недоступными?

Я знаю, что мой личный казус ничтожен, но разве я один? Разве такие руины, как я, не считаются тысячами, десятками тысяч? руины, жалобно вымирающие по своим углам? руины, питающиеся крупичами, остающимися от трапезы мироедов? руины, ежеминутно готовые превратиться в червонных валетов?

Предположите, что я представляю собой тип старокультурного человека среднего пошиба, не обладающего сильными материальными средствами, но и не совсем обделенного. Человека, помнящего крепостное право с его привольями, человека, смолоду выработавшего себе потребность известных удобств, человека, ни к какому делу не приговоренного (ибо и дела в то время не предвиделось), и, что важнее всего, человека, совершенно неспособного к физическому труду. Сей человек ни в чем не может лично помочь себе; он не может сделать шагу в жизни без того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно несколько человек, которые постоянно заботились бы о том, чтобы он был накормлен, одет, обут, не задохся от собственных миазмов, не заоченел от холода. Чтобы связать эти посторонние существования со своим, он должен иметь наготове приманку, то есть деньги, и эти деньги, в большинстве случаев,

опять-таки добыть при помощи посторонних людей. Но разве эти люди, которых он заманивает деньгою, не понимают, что они существуют не для себя? разве есть возможность устроить такой мираж, который заставлял бы их думать, что, соблюдая мою выгоду, холя и покоя меня, они не мою выгоду соблюдают, а свою, не меня покоят и холят, а себя?

Даже при крепостном праве такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совсем ясно, что только нужда может заставить постороннего человека принять участие в холении другого человека, хотя бы и «барина». А ежели нужда, то, стало быть, надлежит удовлетворять ей вот до этой черты и ни на волос больше. И вот затевается борьба или, лучше сказать, какая-то бестолковая игра в прятки, в неохоту, в нехотение. Допустим, что подневольный человек в этой борьбе ничего не выиграет, что он все-таки и вперед останется прежним подневольным человеком, но ведь он и без того никогда ничего не выигрывает, и без того он осужден «слезы лить» – стало быть, какой же ему все-таки резон усердствовать и потрафлять? А культурный человек проигрывает положительно. Не говоря уже о материальных ущербах, чего стоят нравственные страдания, причиняемые вечно присущим страхом беспомощности?

Сапоги не чищены, комнаты не топлены, обед не го-

товлен – вот случайности, среди которых живет культурный обитатель Монрепо. Случайности унижительные и глупые, но для человека, не могущего ни в чем себе помочь, очень и очень чувствительные. И что всего мучительнее – это сознание, что только благодаря тому, что подневольный человек еще не вполне уяснил себе идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затем, как человек, возлежавший на лоне крепостного права и питавшийся его благостынями, я помню, что у меня были «права», и притом в таких безграничных размерах, в каких никогда самая свободная страна в мире не может наделить излюбленнейших детей своих. Ибо что может быть существеннее, в смысле экономическом, права распоряжаться трудом постороннего человека, распоряжаться легко, без преднамеренных подвохов, просто: пойдя и сработай то-то! Или что может быть действительнее, в смысле политическом, как право распоряжаться судьбой постороннего человека, право по усмотрению воздействовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобные «права» нравственны или безнравственны – это вопрос особый, который я охотно разрешаю в отрицательном смысле, но несомненно, что права существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности из-

вестного жизненного строя суть вопросы высшего порядка, которые и натурам свойственны высшим. Только абсолютно чистые и высоконравственные личности могли, в пылу «пользования», волноваться такими вопросами и разрешать их радикально. Средний же культурный человек, даже в том смысле, ежели чувствовал себя кругом виноватым, считал дело удовлетворительно разрешенным, если ему удавалось в свои отношения к подневольным людям ввести так называемый патриархальный элемент и за это заслужить кличку «добротного барина». Он никогда не был героем и ясно понимал только одно, что за пределами крепостного права его ожидает неумелость и беспомощность. И потому старался отвечать на вопросы совести не прямыми разрешениями, а лукавыми подделками. Подделки эти отнюдь не обеляли его, а скорее обнаруживали бесхарактерность и слабость; но даже и за эту бесхарактерность он держался цепко, как за что-то оправдывающее или, по малой мере, смягчающее. И с этой же бесхарактерностью остался и теперь, когда на практике увидел свою беспомощность, неумелость и сиротливость.

Мне скажут, что это тип вымирающий, – это правда, но увы! – он еще не вымер. И еще скажут, что это тип несимпатичный – и это правда, но и это не мешает ему существовать. Притом же он дал отпрыск. Я наде-

юсь, что этот отпрыск будет несколько иного характера, но покуда он еще не настолько определился, чтобы заключать об его пригодности к жизни в тех хищнических формах, в каких она сложилась в последнее время. Мне кажется даже, что то характеристическое условие, которое мы привыкли связывать с представлением о культурности, то есть отсутствие возможности обойтись без посторонней услуги, существует и для отпрыска в той же силе, как и для старого, отживающего дерева.

Не знаю, как кому, а на мой взгляд, ежели по обстоятельствам нет другого выбора, как или быть «рохлей» или быть «кровопивцем», то я все-таки роль «рохли» нахожу более приличной.

Как культурный человек среднего пошиба, я мирно доживаю свой век в деревне. Я выбрал деревню, во-первых, потому, что городская жизнь для меня несподручна, во-вторых, потому, что я имею привязанность к «своему месту», и, в-третьих, потому, что я имею склонность к унынию и нигде так полно не могу удовлетворить этой потребности, как в деревне. Затем, как человек старокультурный, я никому не нужен и даже ни для кого не понятен. Я не имею достаточно денег, чтобы призирать сирых и неимущих, а тем менее, чтобы веселить сердца Осьмушниковых и Колупаевых, забирая у них на книжку водку и колони-

альный товар. Я не имею достаточных знаний, чтобы поделиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконец, я говорю совсем другим языком и, вдобавок, оказался даже недостойным принять участие в земских и мировых учреждениях. Все это ставит меня в совершенную невозможность что-нибудь предпринять и в каком бы то ни было смысле играть деятельную роль. И я, действительно, не только не «действую», а просто-напросто сижу и ничего не делаю. Имею ли я право на это?

В глазах закона я это право имею. Я знаю, что было бы очень некрасиво, если б вдруг все стали ничего не делать, но так как мне достоверно известно, что существуют на свете такие неусыпающие черви, которым никак нельзя «ничего не делать», то я и позволяю себе маленькую льготу: с утра до ночи отдыхаю одетым, а с ночи до утра отдыхаю в одном нижнем белье. По-видимому, и закону все это отлично известно, потому что и он с меня за моедыхание никакого взыска не полагает.

Оказывается, однако ж, что и ничегонеделание представляет своего рода угрозу. «Ничего-то не делать все мы мастера, – говорит батюшка, – а надобно делать, и притом так, чтобы Богу было приятно». И при этом умиленным гласом вопрошает: «А говеть будете?» Ах, батюшка, батюшка! да как же мне быть,

если я иначе жить не умею, ежели с пеленок все говорило мне о ничегонеделании, ежели это единственный груз, которым я успел запастись в жизни и с которым добрел до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крепостном праве возглашали: «Рабы, господам повинуйтеся и послужите им в веселии сердца вашего?» Да, наконец, с которых же пор нищие духом, ротозеи, рохли, простофили, дураки начали стоять на счету врагов отечества?

А Грацианов так даже положительно подозревает, что если я «ничего не делаю», то это значит, что я фрондирую. Или, в переводе на русский язык: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохорюсь, петушусь, кажу кукиш в кармане (вот какое богатство синонимов!). И все это, как истинно лукавый и опасный человек, делаю «промежду себя». Допустим, однако ж, что это так. Допустим, что я действительно «недоволен» и со своей личной точки зрения и с более общей, философской. Допустим, что я, возлежа на одре, читаю Кабё, Маркса, Прудона и даже – *horribile dictu!*¹⁰ – такую заразу, как «Вперед» или «Набат». Но разве быть недовольным «промежду себя» воспрещено? Разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным? Наконец, разве погибнут государство, общество, религия оттого, что я...

¹⁰ Ужасно сказать! (фр.)

кажу кукиш в кармане?

Грацианов думает, что погибнут, а вслед за ним так же думают: Осьмушников, Колупаев, Разуваев. Все они, вместе взятые, не понимают, что значат слова: государство, общество, религия, но трепетать готовы. И вот они бродят около меня, кивают на меня головами, шепчутся и только что не в глаза мне говорят: «Уйди!»

Да, трудно себе представить, какая существует масса людей среднего пошиба, людей, ничем не прославившихся, но и ни в чем не проштрафившихся, которым жить тошно. К прирожденной беспомощности, неумелости и сиротливости в последнее время присоединились еще намеки и покивания. Можно ли представить себе существование менее защищенное? Конечно, можно, скажут мне и укажут на мужика. Но, по моему мнению, мужик уже до того незащищен, что тут самая незащищенность почти равняется защищенности. А ведь культурному человеку сызмлада говорили: ты – краса вселенной, ты – соль земли! – и вдруг является какой-нибудь уроженец ретирядного места и без околичностей говорит: уйди... сочувствователь!

«Сочувствователь» – это новое модное слово, которое стремится заменить «нигилистов» и которое исключительно имеет в виду людей культуры. Вместо обвинения в факте является обвинение в сочувствии

– и дешево и сердито. Обвинение в факте можно опровергнуть, но как опровергнуть обвинение в «сочувствии»? Желание понять и выяснить известное явление – сочувствие ли это? попытка обсудить явление в ряду условий, среди которых оно народилось, – сочувствие ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждают во всеуслышание, что все это – сочувствие. Кто же эти люди? – это граждане ретиральных мест, которые благодаря смуте вышли из первобытного заключения и, все пропитанные вонью его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которым необходимо поддерживать смуту и питать пламя человеконенавистничества, ибо они знают, что не будь смуты, умолкни ненависть – и им вновь придется сделаться гражданами ретиральных мест.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающих людей старокультурного закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь в окрестностях питейного дома, в области объегоривания, среди Осьмушниковых, Колупаевых и прочих столпов; я знаю, что на них покоятся все упования, что с ними дружит все, что не хочет знать иной почвы, кроме непосредственно деловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостоин жить и – умираю. Но я еще не умер – как же с этим быть?

Есть у меня одна претензия: без утеснения прожить

последние дни. Конечно, я не могу в точности определить, сколько осталось этих дней счетом, но неужто ж нельзя иметь сколько-нибудь терпения? И что же! оказывается, что даже для осуществления этой скромнейшей претензии необходима «протекция». Я должен припоминать старинные связи, должен утруждать напоминанием о своем забытом существовании, должен обращаться к просвещенному содействию. Конечно, в этом содействии мне не будет отказано и в конце концов я получу-таки право безнаказанно «артачиться» и «показывать кукиш в кармане», но, ради Бога, разве нельзя от одной мысли об этой предварительной процедуре сойти с ума?

Светлая неделя прошла на селе очень весело. Много было песен, довольно и драк. Колупаев, Осьмушников и Прохоров давно так бойко не торговали; батюшка ходил по избам, поздравлял хозяев с праздником и собирал крутые яйца; даже в мое уединение доносились клики ликования, хотя, по случаю праздников, Монрепо было пустынное, нежели в обыкновенные дни. Вся прислуга точно с цепи сорвалась; появлялась в дом лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, жив ли я, и затем вновь бежала бегом на село принять участие в общем веселье. Даже Лукьяныча я никак не мог дозваться, хотя и слышал, что где-то недалеко кто-то зевает; потом оказалось,

что и он, по-своему, соблюдал праздничный обряд, то есть сидел, пока светло, за воротами на лавке и смотрел, как пьяные, проходившие мимо усадьбы, теряли равновесие, падали и барахтались в грязи посередь дороги.

Все сельские нотабли посетили меня, пили водку, ели ветчину и крутые яйца. И, как мне показалось, с каким-то напряженным любопытством вглядывались в обстановку моего дома, точно старались запомнить, где что стоит. Колупаев даже провел рукой по обоям залы и сказал:

– Обои-то, кажется, новенькие поставить сбирались?

– Сбирался.

– И купили, сударь?

– Купил.

– Так-с. В сохранности, стало быть, лежат?

– Лежат.

Одним словом, по-видимому, начали уже подозревать, не замышляю ли я, чего доброго, что-нибудь утаить или в другое место потихоньку перевезти.

В начале недели Грацианова не было дома: он ездил в город христосоваться с полицейским управлением. В середине недели, однако ж, вернулся и привез свежие политические новости. Новости эти, впрочем, заключались единственно в том, что отныне ни-

кому уж спуску не будет (помнится, однако ж, что и после новогодней поездки он эту же новость привез). Бальовства этого чтоб ни-ни! Особливо ежели кто книжки читает или неприлично званию себя ведет – сейчас в кутузку и... фюить! В конце недели посетил и меня и при этом выказал такой величественный вид, что я даже удивился, как это он меня удостоил.

– Откровенно вам скажу, – начал он после обычных пасхальных приветствий, – очень меня моя нынешняя поездка в город порадовала!

– Награду получили?

– Насчет награды, исправник поцеловал – только и всего. А главное: наконец-то за ум взялись!

– Новенькое что-нибудь?

– Да-с; теперь, доложу вам, спуску не будет! И нашему брату приходится ухо остро держать, а что касается до иных прочих...

– Ну, слава Богу!

По-видимому, однако ж, он не ожидал с моей стороны такого восклицания. По крайней мере, он взглянул на меня и чуть заметно ухмыльнулся.

– Что вы улыбаетесь? – любопытствовал я.

– Да так, знаете... А впрочем...

– То-то «впрочем»! А я вам на это скажу: иногда мы ищем, думая осиное гнездо обрести, а вместо того обретаем сокровище! Имейте это в виду.

– Превосходно-с!

Мы оба на минуту замолчали и, кажется, оба мысленно восклицали: однако!

– Вы, я слышал, имение-то продавать хотите? – начал он вновь.

– И я со стороны слышал об этом, но сам ничего не знаю.

– Отчего бы и не продать?

– А отчего бы продать?

– Выгоды для вас держать в здешнем месте имение нет – вот что. Сами вы занимаетесь мало, Лукьяныч – стар. На вашем месте я совсем бы не так поступил.

– А как, например?

– Да купил бы рощицу десятинки в две, в три, выстроил бы домичек, садик бы развел, коровку, курочек с пяток... Всё перед глазами – любезное дело!

– Представьте себе, что уж целый месяц я эти советы выслушиваю.

– А по-моему, благие советы всегда выслушать приятно. Да-с. Пора господам-дворянам за ум взяться, давно пора! А все гордость путает: мы, дескать, интеллигенция – а где уж!

– Однако, вы и резонерством заниматься стали?

– Нельзя, всем заниматься приходится, наша должность такая. Вот в «Ведомостях» справедливо пишут: вся наша интеллигенция – фальшь одна, а настоя-

щий-то государственный смысл в Москве, в Охотном ряду обретается. Там, дескать, с основания России не чищено, так сколько одной благонадежности накопились! Разумеется, не буквально так выражаются, своими словами я пересказываю.

– Верно, что своими словами.

– Так вот и дельнее бы было, в виду этого, себя ограничивать. Собственность-то под силу, значит, выбирать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой махиной усмотреть?

– Да я и не претендую на это.

– А найдись ловкий человек – тот усмотрит. Над тем и мужики не подумают озоровать. Это чтобы луга травить или лес рубить – сохрани Бог!

– Кто ж этот «ловкий»? Разуваев, что ли?

– А хоть бы и Разуваев.

– Надоел он мне – вот что!

– Первым делом устроил бы он в здешнем парке гулянье, а между прочим вот там на уголку торговлю бы прохладительными напитками открыл...

– Да, хорошо это... Гм... так вы думаете, что отныне спуску уж не будет?

– Да-с, не дадут-с! подтянут-с!

– Слава Богу! а то совсем было распустили!

– Теперь – конец!

– Всему венец!

– Вон из Москвы пишут: «умников» в реке топить, а упование возложить на молодцов из Охотного ряда. А когда молодцы начнут по зубам чистить, тогда горошком. Раз, два, три и се не бе! Молодцов горошком, а на место их опять «умников» поманить. А потом «умников» горошком; так колесом оно и пойдет.

– Да! так вы, кажется, об Разуваеве начали что-то говорить?

– Просил он узнать, не примете ли вы его?

– Был ведь он у меня... И такой странный: вынул из кармана бумажник и начал перед глазами махать им. А впрочем, день на день не приходится. Я вообще трудно решаюсь, все думаю: может, и еще Бог грехам потерпит! И вдруг выдастся час: возьми всё и отстань!

– Значит, так ему и сказать?

– Да, пусть придет. Так и скажите: верного, мол, еще нет, а на то похоже!

– А как бы для вас-то было хорошо!

Наконец, Грацианов ушел, я же, по обыкновению, начал терзать себя размышлениями. «Умник» я или «не умник»? – спрашивал я себя. Самолюбие говорило: умник; скромность и чувство самосохранения подсказывали: нет, не умник. А что, ежели в самом деле умник? – ведь здесь не токмо река, а и море, пожалуй, не далеко! Долго ли «умника» утопить?

Какая, однако ж, странная эта московская топи-

тельная программа! Как понимать ее? Кто будет рассортировывать умников от не умников, первых ставить ошуйю, а вторых – одесную. Вот, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдят, насмердят – не продохнешь!

В прежние времена процедура рассортировки умников от неумников происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь из лиц, на заставах команду имеющих, выстроит всех в одну шеренгу и кликнет: зачинщики (по-нынешнему «умники»), вперед! Сейчас это выйдут вперед зачинщики, каждый получит, что ему по расчислению полагается, – и прав. Всякий знает, что, получив надлежащее, он спокойно может смешаться с массой заурядных смертных и что до следующего раза его тревожить не будут; в следующий же раз, может быть, и совсем Бог помилует.

Нынче с упразднением застав распорядиться таким образом некому. Некому выкликать клич, некому делать расчисления, некому воздавать надлежащее; стало быть, поневоле рассортировка «умников» и «неумников» должна быть предоставлена молодцам из Охотного ряда, а где такового не имеется, – Осьмушниковым, Колупаевым, Разуваевым и молодцам, на персях у них возлежащим. Какой же возможен для них критерий для расценки! Критерий этот один: кто в книжку читает, кто чисто ходит, в кабаки

не заглядывает (но к Донону), походя не сквернословит (но потихоньку и по-французски), кто не накладывает, не наяривает, – тот и «умник». Но ведь и московские сочинители топительных программ тоже и в книжку читают, и даже пером балуют, – стало быть, и они «умники»? Или, быть может, они только полуумники?

И еще: немного говорил Грацианов, да много сказал. Ишь ведь: «ведет себя несвойственно званию», – как это понимать? Например, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремеслом никаким не занимаюсь, просто сижу и совсем ничего не делаю, – кажется, что это званию моему не несвойственно? А между тем несомненно, что, говоря свои жестокие слова, он имел в виду именно меня. Уж не унылость ли моя ввела его в заблуждение? Имеет, дескать, постоянно унылый вид и этим других не только от дела, но даже от пищи отбивает... Господи помилуй! Да после того как меня «обидели», какой же вид более приличествует моему званию, как не унылый! Меня «обижают», а я буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... ни за что! На зло буду слезы лить – гляди!.. Однако и эта вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я уныл, но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и «Самонвейший песенник», и когда Колупаев в сопровождении подносчиков и иных кабацких чинов придут топить

меня, яко «умника», я предъявлю ему вещественные доказательства и возглашу: «Я совсем не „умник“, но такой же курицын сын, как и вы все!» И при этом, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо мной скинут! Что нужно, чтобы произвести во мне подобное превращение? – нужно очень немного: приказать. Прикажете унылый вид прекратить – и я прекращу.

Вообще, я не понимаю, из чего Грацианов тревожит себя и хлопочет. Вместо того, чтоб гневаться, полемизировать, сослаться на свидетельство граждан ретиральных мест и даже «под рукой» скрежетать зубами, объявил бы прямо: «Веселися, храбрый росс!» – давным бы давно я трепака отхватывал. Да и этого не надо, совсем ничего не надо. Просто надлежит оставить меня в жертву унылости – только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и в самом деле унылостью моей я хотел намекнуть, что «хорохорюсь», «кажу кукиш в кармане», – эка важность! Кажу так кажу, хорохорюсь так хорохорюсь – пущай.

Из всего вышеписаного всякий может заключить, что я и сам не весьма отличного об себе мнения. Ибо что же может быть менее лестно: человек «артачится», «фордыбачит», а его не токмо за это не бьют, но даже и внимания никакого на это не обращают? Однако ж и тут загвоздка есть. Говорят, будто бы это «не

отличное мнение» касается не только самого меня, сколько тех тенет, в которых я от рождения путаюсь. Вот, мол, какая тут затаенная мысль. Но ежели это и так – эка важность! Были бы тенета, а там, как я о них «промежду себя» полагаю, – это потом как-нибудь на досуге разберется. А покуда: веселися, храбрый росс! – и шабаш.

До меня даже такие слухи доходят, будто бы Грацианов ночей из-за меня не спит. Говорят, будто он так выражается: «Кабы у меня в стану все такие „граждане“ жили, как Колупаев да Разуваев, – я был бы поперек себя толще, а то вот принесла нелегкая эту „заразу“...» И при последних словах будто бы заводит глаза в сторону Монрепо...

А я, признаюсь, на его месте все бы спал. Спал бы да тучнел, да во сне от времени до времени бредил: «Веселися, храбрый росс!» И достаточно.

Сам себя человек изнуряет, сам развращает свою фантазию до того, что она начинает творить неизглаголаемая, сам сны наяву видит – да еще жалобы приносит! Ах, ты... Вот и сказал бы, кто ты таков, и нужно бы сказать, а боюсь, – каких еще доказательств нужно для беспрепятственности спанья!

Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородие! господин Грацианов! как вы полагаете, легко ли с таким эпитетом на свете жить?

«Ничтожный» – это подлежащее. А сказуемое – фюить! Связки – не полагается. Ведь вон он, мой синтаксис-то, каков! А ваше благородие еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! Ах-ах-ах!

Нет, лучше бежать. Но вопрос: куда бежать? Желал бы я быть «птичкой вольной», как говорит Катерина в «Грозе» у Островского, да ведь Грацианов, того гляди, и канарейку слопают! А кроме как «птички вольной», у меня и воображения не хватает, кем бы другим быть пожелать. Ежели конем степным, так Грацианов заарканит и начнет под верх муштровать. Ежели буй-туром, так Грацианов будет для бифштексов воспитывать. Но, что всего замечательнее, животным еще все-таки вообразить себя можно, но человеком – никогда!

Человек – это общипанный петух. Так гласит анекдот об человеке Платона, и этот анекдот, возведенный в идеал, преподан яко руководство и в наши дни.

Но бежать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хоть в червя ползущего, все-таки надо бежать. Две-три десятинки, коровка, пять курочек – все в один голос так говорят! Мне – две десятинки; Осьмушниковым и Разуваевым – вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новых столбов. Да ведь новые-то столбы и вовсе гнилые... ах, господин

Грацианов!

Не малодушие ли это, однако ж, с моей стороны, не преувеличение ли? Ведь жил же я до сих пор – жив есмь и жива душа моя! – вероятно, ежели и впредь буду жить – и впредь никто меня не съест. Допустим, что все это так. Но, во-первых, разве так живут люди, как я до сих пор жил? А во-вторых, какой горький искус нужно вынести на своих плечах, чтобы дойти до подобного малодушия, до подобных преувеличений? Ведь и малодушие не по произволу является, но сходственно с обстоятельствами дела. Легко указывать на человека и восклицать: вот раб лукавый! – но что же ему делать, если у него, кроме лукавства, улады иной в жизни нет?

Чуть ли не с Кантемира начиная, мы только и делаем, что жалуемся на «дурные привычки». Распущенность, разнузданность, равнодушие, лень, малодушие, лукавство, лицемерие, лганье – вот каков багаж. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли может чем-либо заявить себя со стороны производительности, а скорее обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонам. Но для того, чтоб дурные привычки исчезли, надобно прежде всего, чтоб они сделались невыгодны. Рамки такие нужны, в которых даже невзначай не представилось бы повода для проявления этих привычек. А

где эти рамки взять?

Обратить строгое внимание на выбор подчиненных – отлично! Строжайше соблюдать закон – превосходно! Не менее строго соблюдать экономию – лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это так и будет. И вот, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тех пор и рад бы, да не могу.

Впрочем, я однажды уж оговорился, что мой личный казус ничтожен. Повторяю это и теперь. Что я такое? – «пхё»! Одно только утешительно: ведь и все остальные – пхё, все до единого. Но какое странное утешение!

Разуваев явился ко мне на другой день и на этот раз был удивительно мил. Расчесал кудри, тщательно вымылся, надел новый сюртук и штаны навывпуск. Вообще, по-видимому, понял, что пришел не в харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянул и с благодарностью отозвался при этом о корнетше Отлетаевой.

– Кабы оне в те поры не зачинали суда, а честью попросили, – сказал он, – я, может, и посеичас бы верный слуга для них был.

– Ну, где уж! – усомнился я.

– Верное слово, вашескородие, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихний раб состоял.

– Что уж о старых делах вспоминать, лучше об нынешних потолкуем. Торгуете?

– И нынче дела нельзя похулить, надо правду сказать. Народ нынче очень уж оплошал, так, значит, только случая опускать не следует.

– Частенько-таки я в последнее время такие слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народ оплошал, да еще вы случаев опускать не будете – ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь?

– Ах, вашескородие! йен доста-а-нит!

Он сказал это с такой невозмутимой уверенностью, что мне невольно пришло на мысль: «Что же такое, однако ж, нам в детстве твердили о курице, несшей золотые яйца?» Как известно, владелец этой курицы, наскучив получать по одному яйцу в день и желая зараз воспользоваться всеми будущими яйцами, зарезал курицу и, разумеется, не только обманулся в своих мечтаниях, но утратил и прежний скромный доход. Легенда эта (в смысле результата) всегда казалась мне достойной вероятия, и я вполне искренно думал, что человек, зарезавший драгоценную курицу, был глупый человек и совершенно правильно за свою глупость пострадал.

И вот теперь Разуваев объявляет прямо, что все это вздор. Судя по его словам, курица не переста-

ет нести золотые яйца, даже если она съедена. Это какая-то вечная, дважды волшебная курица, которую ничто неймет, ничто доконать не может. Это – курица-миф, курица-бессмыслица, но в то же время курица, подлинное существование которой может подтвердить такой несомненный эксперт куриных дел, как Разуваев. И мне кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оценивают этот факт, ибо в противном случае они не разглагольствовали бы ни о сокровищах, в недрах земли скрывающихся, ни о сокровищах, издаваемых экспедицией заготовления государственных бумаг, а просто-напросто объявили бы: ежели в одном кармане пусто, в другом ничего, то распори курице брюхо, выпотроши, свари, съешь, и пускай она продолжает нести золотые яйца по-прежнему. И она будет нестись – в этом порукою Разуваев.

«Иён доста-а-нит!» Просто, глупо и между тем изумительно глубоко. Эту фразу следовало бы золотыми буквами начертать на всех пантеонах, ибо, в сущности, на ней одной издревле все экономисты и финансисты висят.

– Однако вы, как я вижу, и финансист! – похвалил я.

– Я-то-с? – помилуйте, вашескородие! так маленько мерекаем ¹¹, а чтобы настоящим манером произой-

¹¹ Для незнакомых с этим выражением считаю нелишним пояснить, что «мерёкать» – значит кое-что понимать, на бобах разводить. Перво-

ти, – такого разума от Бога еще не удостоены-с.

– Ах, Анатолий Иванович, Анатолий Иванович! да ведь и все мы, голубчик, только мереекаем!

– Нет-с, вашескородие, слышал я, что бывают и настоящие по этой части ходоки. Прожженные, значит. Взглянет – и сразу все нутро высмотрит.

– Это только так издали кажется, мой почтенный, что он нутро видит, а в действительности он то же самое усматривает, что и мы с вами. Только мы с вами мереекаем кратко, а он пространно. Знать не знаю, ведать не ведаю, а намерёкать могу с три короба – вот и разгадка вся.

– Это так точно-с.

– Один придет, померёкает; другого завидки возьмут – придет и наизново перемерёкает. И все одно и то же выходит. А мы, простецы, смотрим издали, как они сами себе хвалы слагают, и думаем, что и невесть какой свет их осиял!

– И это истинная правда-с.

– И ежели по правде говорить, так вы уж чересчур скромного об себе мнения. Именно вы-то и не мереекаете, а самое нутро видите. «Йён достанит!». Ах, голубчик, голубчик! неужто ж вы не понимаете, что вы – финансист?

начальным корнем этого выражения был, очевидно, глагол «мерещить-ся». Мерещится знание, а настоящего нет. (Авт.)

Не знаю, насколько понял меня Разуваев, но знаю, что он остался польщен и доволен. Разумеется, он воспользовался моей словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти к действительному предмету своего посещения.

– Главная причина, – сказал он, – время теперь самое подходящее. Весна на дворе, огород работать пора, к посеву готовиться. Ежели теперь время опустил, – после его уж не наверстать.

– Но почему же вы думаете, что я упущу?

– Вашескородие! позвольте вам доложить! Ну, какая же есть возможность вам за всем усмотреть-с?

– Однако, шло же как-нибудь до сих пор.

– Как-нибудь – это так точно-с. А нам надо не как-нибудь, а чтобы настоящим манером. Вашескородие! позвольте вам доложить! Совсем бы я на вашем месте... ну, просто совсем бы не так я эту линию повел!

– Что же бы вы сделали?

– Очень просто-с. Купил бы две-три десятинки-с, выстроил бы домичек по препорции, садичек для прохладности бы развел, коровку, курочек с пяток... Мило, благородно!

Стало быть, и он. Все как один, почти слово в слово; должно быть, однако ж, частенько-таки они обо мне беседуют. Вот он, vox populi ¹², – теперь только я пони-

¹² Глас народа (лат.)

маю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди так уверенно ждут, – стало быть, они имеют к тому основание; ежели они с такой тщательной подробностью определяют, что для меня нужно, стало быть, они положительно знают, что я сижу не на своем месте, что здесь я помеха и безобразие, а вон там, на двух десятинках, я придусь как раз в самую меру. И, что всего важнее, это же самое сознавал я и сам. Давно уж сознавал, да самолюбие, должно быть, мешало вступить на новый путь, а может быть, и просто лень...

Вероятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побеседовал с Разуваевым, но ни своей цены ему не объявил, ни об его цене не спросил. Словом сказать, ни на чем не покончил. Однако ж видимо было, что Разуваев, уходя от меня, был значительно ободрен. Он быстрым оком окинул мою обстановку, как бы желая запечатлеть ее в своей памяти, и на прощание долго и умильно смотрел мне в глаза. Он понял, что я все еще «артачусь», и был так любезен, что взглянул на эту слабость снисходительно. В самом деле, не Бог же знает, что съест человек, ежели и подождать две-три недели, а он между тем жалованье рабочим за месяц заплатит... Во всяком случае, я почти убежден, что от меня он побежал к своим единомышленникам и что там все единогласно уже решено и скомпоновано. Может быть, и Лукьяныч

там вместе со всеми советы подает...

– Лукьяныч! а Лукьяныч! где ты? – испугался я.

– Здеся я, – отозвался голос из передней.

– Разуваев-то ведь в сурьез покупать приходил.

– Неужто ж в шутку?

– Истинный ты Езоп! никак с тобой говорить настоящим манером невозможно!

– Чего «настоящим манером»! Апрель в половине, пахать пора, а где у нас навоз-то?

– Так неужто за зиму не накопилось?

– Спросите у садовника, куда он его девал.

– Так, значит, продать?

– Это как вам будет угодно.

– Да ты-то, ты-то, что думаешь! Чай, не цепями у тебя язык скован – шевели!

– И то умаялся, еще при папеньке при вашем шевеливши. Говорил в то время: не покупайте, зачем вам! – нет, купили...

– Ну, ступай!

Но прошла святая, прошла Фомина неделя, а я все еще артачился и недоумевал. Вон выехал Иван старший с сохой на полосу против усадьбы, перекрестился и пошел ковырять. Ишь ковыряет! даже из окон видно, как он на каждом шагу пропашку за пропашкой делает... так бы и налетел! Смотрю, ан и Разуваев стоит на дороге и тоже на пашню любитесь: толь-

ко понапрасну, мол, землю болтают! Наконец, он не вытерпел, крикнул: «А ты бы, Иван, сохой-то не все напусто, а и в землю бы попадал!» И Иван понял, что это не напрасный окрик, что когда-нибудь он отзовется на нем, и начал в землю сохой попадать. «Но-но, миляк! Нно... стерво!» – слышатся мне через полуотворенное окно поощрения, посылаемые им рыжему мерину.

Главное препятствие для окончательной развязки представляла, по-видимому, мысль: наступает лето, – куда деваться?

Ежели в Петербург или в Москву ехать, – упаси Бог! Там теперь такие фундаменты закладываются и такие созидаются здания, что того гляди задавят. Ежели за границу ехать, – не лежит у меня сердце к этой загранице! Во-первых, англичан на каждом шагу встретишь: ходят прямо, надменно, и у каждого написано на лице: *Afghanistan – jamais!*¹³ Это, то есть, нас, русских, они так дразнят. Ах, господа, господа! С которых уже пор вы твердите: *jamais* да *jamais*, а мы между тем, не торопясь да Богу помолясь, смотрите-ка, куда забрались! Одно нехорошо: объяснить им это прямо нельзя, – того гляди, проштрафишься. Он говорит: *jamais!* а я ответить ему не могу. Почему я знаю, что по обстоятельствам дела и в согласность с высшими сообра-

¹³ Афганистан – никогда! (фр.)

жениями следует в данную минуту говорить? Может быть, *pour sur*¹⁴, а может быть, и *jamais*. Так уж лучше пусть он один дразнится, а мы помолчим – вот оно, положение-то, каково! Во-вторых, настоящей прислуги за границей нет. Коли хотите, целые города (курорты) существуют, где, кроме лакеев, и людей других не найдешь, а все-таки подлинного, «своего» лакея нет. Тамошний лакей жадный, прожженный, он всякому служить готов, а потому ни настоящей сноровки, ни преданности с него спросить нельзя. А нам нужен лакей постоянный, чтоб с утра до вечера все одного и того же человека шпынять. В-третьих, за границей очень уж чисто. Вычистят с утра и хотят, чтоб целый день чисто было. А нам это невозможно. Помню, я в прошлом году людские помещения на скотном дворе вычистить собрался; нанял поденщиц (на свою-то прислугу не понадеялся), сам за чисткой наблюдал, чистил день, чистил другой, одного убиенного и ошпаренного клопа целый ворох на полосу вывез – и вдруг вижу, смотрит на мои хлопоты старший Иван и только что не въявь говорит: «Дай срок! я завтра же всю твою чистоту в лучшем виде загажу». Так-то и все. Нельзя нам чисто жить, недосуг. Да и приспособлений у нас не заведено. За границей машинами улицы поливают, а мы – ковшичком; за границей громадными щетками

¹⁴ Наверно (*фр.*).

грязь вычищают, а мы – метелками! И не то, чтоб мы не понимали, что хорошо, что худо; спросите у первого встречного: что лучше, в чистоте ли жить, или в грязи барахтаться, – наверное, всякий скажет: «Как можно! в грязи или в чистоте!» Но через минуту, непременно, прибавит: «Ах, барин, барин!»

Словом сказать, ни в столице, ни за границей – нигде жить охоты нет. Купить бы где-нибудь в Проплёванском уезде, на берегу реки Гнилушки, две-три десятинки – именно так, ни больше, ни меньше, – да ведь, пожалуй, в поисках за этим эльдорадо все лето пройдет...

Очень возможно, что я долго бы таким образом недоумевал, если б не пришел ко мне на помощь неожиданный случай и не ускорил развязки.

Сейчас после Фоминой я получил письмо от старинного моего приятеля и школьного товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилия и очень древняя: и в Смоленске Косушкины сидели, и в Тушино бегали, но нигде «косушки» не забывали и тем воспрославились). Письмо гласило следующее:

«Соломенное Городище. 26 апреля.

Ау, дружище! где ты и как живешь? Ежели в Монрепе изнываешь, то брось все, продавай за грош и кати сюда. Ибо лета наши приходят преклонные, и, следовательно, закат дней своих нам не унывающе, но ве-

селящиеся провести надлежит.

Скоро будет два года, как я поселился здесь, поселился, по-видимому, случайно, а на поверку выходит, что навсегда. Вот краткая повесть о моем переселении.

И я родился в Аркадии, и у меня было свое Монрепо; но в последнее время так оно мне опостылело, что я, как помешанный, слонялся из угла в угол. Дело в том, что, покуда были налицо разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиныюшки, жилось хоть и не особенно сладко, но все-таки жилось. Жил и я. Никто не тревожил меня, никто „распоряжениями“ не донимал. Придет кто-нибудь насчет покосца переговорить – ступай к Евдокимычу; дровец не продадите ли – ступай к Климычу; маслица нет ли залишнего – ступай к Аксиныюшке. Как уж они там ладились, – не знаю, но денег на расходы не требовали и даже меня от времени до времени кушиками побаловывали. Но, что важнее всего, я был уверен (да и теперь верю), что дело у нас идет средним ходом, без грабежа, но и без мотовства, смирно, честно, благородно... И вдруг среди этой-то тишины и во всем благого поспешения налетел на нас вихрь: стали старики помирать. Сначала умер Евдокимыч, потом Климыч, а наконец и Аксиныюшка.

Умирили по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недели две морщится, скучный ходит

(Евдокимыч говорил: „В первую холеру я с покойным папенькой вашим в ростепель в Москву ездил – с тех самых пор ноги мозжат“), потом влезает на печку и уж не слезает оттуда: значит, смерть идет. И действительно, не пройдет и месяца, – смотришь, шлют за священником. Причастится, особоруется и совсем уж притихнет. А к вечеру икнёт – и нет его. Тяжелее других умирала Аксиныюшка: все каялась мне, что „еще при покойнице матушке вашей новинку утаила“, и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или в порыве предсмертного самобичевания наклепала на себя – сказать не могу; но, вспоминая матушкин „глазок-смотрок“, сдаётся мне, что вряд ли от ее внимания могла укрыться целая недостающая новина.

Не думай, однако ж, что я пишу идиллию и тем паче, что люблюсь ею. Отлично я понимаю, каким образом сложился тип крепостного пестуна и почему все эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у них ног уж не было, чтоб бежать, а во-вторых, от отца с матерью они, наверное, и без ног бы ушли, потому что те были господа настоящие, и хотя особенно блестящих хозяйственных подвигов не совершали, но любили игру „в каторгу“, то есть с утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а стало быть, сумели бы и со стариков „спросить“. Ну, а мне все равно: живите, только меня не трогайте!

Когда все перемерли, я остался один лицом к лицу с Монрепо. Ужасно это тяжелое чувство; в первый раз в жизни напал на меня страх. Спать по ночам не мог; все чудилось: зачем же Монрепо-то не умерло? и кто меня теперь успокоит? кто добро мое сбережет? Пришлось нанимать чужака.

Явился чуженин и говорит: Филарет Семенов Перебежчиков, здешнего города мещанин; надеюсь вашей милости заслужить. Что ж, очень рад; вот ключи, вот планы, с остальным сами постепенно ознакомьтесь. Но на первых же порах начал меня этот человек огорчать. Прежде всего охаял распоряжения Евдокимыча и даже попытался набросить на них неблагоприятную тень. Потом стал каждый вечер ходить, спрашивать, какое на завтрашний день распоряжение будет (да еще целых два ему выложи: одно на случай, коли ежели ведро, а другое на случай, коли ежели Бог дожжичка пошлет)? А я почем знаю? Кому виднее, как по обстоятельствам дела поступать надлежит, мне или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человеку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничем распорядиться не могу... Вот я распорядился, распорядился, да и затосковал.

А к этому вскоре присоединилось и еще обстоятельство: прислали к нам в уезд нового начальника. Глаза как плоски, усы как у таракана, из уст пахнет

„Московскими Ведомостями“. Старого-то – отличный был, царство небесное! – сменили за то, что все в городе сиднем сидел (кстати, он мне потом жаловался: „Ведь и Илья Муромец, – говорит, – сколько лет сиднем сидел, однако когда понадобилось...“). Так новый, как дорвался до места, так и поехал. Ездит, братец, по проселкам и все людей выдергивает да в плен уводит. Завелся, видишь ли, „дух“ какой-то в наших палестинах, так вот по этому случаю.

У меня не был, а проезжал мимо не раз. Смотрел я на него из окна в бинокль: сидит в телеге, обернется лицом к усадьбе и вытаращит глаза. Думал я, думал: никогда у нас никакого „духа“ не бывало и вдруг завелся... Кого ни спросишь: что, мол, за дух такой? – никто ничего не знает, только говорят: строгость пошла. Разумеется, затосковал еще пуще. А ну как и во мне этот „дух“ есть? и меня в преклонных моих летах в плен уведут?

Взял и вдруг все продал. Трактирщик тут у нас по близости на пристани процвел – он и купил. В нем уж, наверное, никакого „духу“, кроме грабительства, нет, стало быть, ему честь и место. И сейчас на моих глазах, покуда я пожитки собирал, он и распоряжаться начал: птицу на скотном перерезал, карасей в пруде выловил, скот угнал... А потом, говорит, начну дом распродавать, лес рубить, в два года выручу два ка-

питала, а наконец, и пустое место задешево продам.

Признаюсь, однако ж, что на первых порах тоскливо было. Во-первых, странно с непривычки такие фразы слышать: „А подсвечник-то вы, кажется, наш с собой уложили?“ или: „Тут полотенчико прежде висело, так как прикажете, ваше оно или наше будет?“ А во-вторых, продать-то я продал, а как с собой поступить, – не знаю. На всякий случай, однако ж, отправился в „губернию“, думаю: там моя невинность виднее будет. Проезжаю мимо Соломенного Городища, смотрю и не верю глазам: волшебство! При самом въезде в город, без конца тянется забор, а за забором зелени, зелени – целое море! И дом большой и развалины какие-то в стороне. Спрашиваю на станции: что за штука? – отвечают: жил-был здесь откупщик, и водочный завод у него был (это развалины-то), а теперь, дескать, дом с землей продаются. Сейчас же побежал смотреть. Место – две десятины; в самый раз, значит, и то, пожалуй, за всем не усмотришь; забор подгнил, а местами даже повалился – надо новый строить; дом, ежели маленько его поправить, то хватит надолго; и мебель есть, а в одной комнате даже ванна мраморная стоит, в которой жидовин-откупщик свое тело белое нежил; руина... ну, это, пожалуй, „патореск“, и больше ничего; однако существует легенда, будто по ночам здесь собираются сирые и неимущие,

лижут кирпичи, некогда обгарявшиеся сивухой, и бывают пьяны. Но сад – волшебство! Ни цветников, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это „он“ все „на предмет настоек“ разводил! И все запущено, разрослось, переплелось... Словом сказать, так мне вдруг захотелось тут умереть, что сейчас же я поскакал в Москву и в два дня кончил.

И ко всему этому здешний начальник оказался смирный. Любознательный, но смирный. Приехал ко мне на новоселье, посидел, побеседовал и вдруг задумался. „Так вы, – говорит, – к нам... совсем?“ – „Со всем, говорю“. – „Аттестат у вас есть?“ – „Вот он“. Посмотрел; перелистовал: служил там-то и там-то, аттестовался способным и достойным, в походах не бывал, под судом и следствием не состоял... Вздохнул. „А знаете ли, – говорит, – я, воля ваша, этого не понимаю: к нам... совсем... что такое значит?“ – „Да просто значит, что к вам совсем, – и больше ничего“. – „Помилуйте... что же такое у нас?... никто к нам... никто никогда... и вдруг!“ – „Да ведь надо же где-нибудь жить?“ – „Так-то так... а все-таки... ну, какую вы здесь прелесть нашли! городишко самый пустой, белого хлеба не сыщешь... никто к нам никогда... и вдруг вздумалось!..“ Это было так мило, что я не выдержал и расцеловал его. И вот с тех пор мы друзья. Чтоб окончательно его

успокоить, я отвел в доме квартиру для полицейского чина, истребил все книги, вместо газет выписал „Московские Ведомости“ и купил гитару. Все прошлое лето днем и ночью я держал окна настежь: приди и виждь!

Итак, бросай свое Монрепо и приезжай сюда. Ничего, кроме ношенного платья, не привози, но гитарой запасись непременно: это придает шик благонамеренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, вроде моего Евдокимыча, то также привози, потому что это придаст нашему сожителству шик респектабельности: авторитеты, значит, признаем. По исполнении сего заживем отлично. Будем вдвоем сидеть у открытого окна, бряцать на струнах и петь:

Ах, что кому до нас!
Когда праздничек у нас,
Мы зароемся в соломку,
И никто не найдет нас!
Тпруинь! тпруинь! тпруинь!

Помнишь?

Затем, жму твою руку и жду. Vale ¹⁵.

Иван Косушкин.

P. S. Забыл сказать: при доме есть сажалка и в ней караси. Караси да ежели в сметане... это что ж та-

¹⁵ Прощай (лат.)

кое!!»

Первой мыслью по прочтении этого письма было: так вот они, две десятины, об которых мне целый месяц твердят! Затем через час я уже был у Разуваева, и мы в два слова кончили. Finis Монрепо!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

***(Посвящается кабатчикам,
менялам, подрядчикам,
железнодорожникам и прочим
мироедских дел мастерам)***

Я, отставной корнет Прогорелов, некогда крепостных дел мастер, впоследствии оголтелый землевладелец, а ныне пропащий человек, – я обращаю к вам речь мою!

Вся цивилизованная природа свидетельствует о скором пришествии вашем. Улица ликует, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны в трактирах и ресторанах в ожидании млеют, даже стерляди в трактирных бассейнах – и те резвее играют в воде, словно говорят: слава богу! кажется, скоро начнут есть и нас! По всей веселой Руси, от Мещанских до Кунавина включительно, раздается один клич: идет чумазый! Идет и на вопрос: что есть истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и навынос!

Присутствуя при этих шумных предвкушениях будущего распивочного торжества, пропащие люди жмутся и ждут... Они понимают, что «чумазый» придет со-

всем не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственно, чтоб показать, где раки зимуют. Они знают также, что именно на них-то он прежде всего и обрушится, дабы впоследствии уже без помехи производить опыты упрощенного кровопивства; но неотразимость факта до того ясна, что им даже на мысль не приходит обороняться от него. Придет «чумазый», придет с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несътой утробой – придет и слопаёт! Только и всего.

И не одна бессознательная кунавинская природа приветствует ваше пришествие; нет, слухи об вас проникли даже в ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидения и чаяния. И эта среда вместе с Кунавиным спешит всем возвестить ваше пришествие, как вернейший залог грядущего обновления.

Прежде всего вас приветствуют наши «охранители». Пропавшие люди, которых они когда-то из всех сил старались пристроить, ныне до смерти надоели им. Сантиментальничают, ропщут, не то просят прощения, не то грубят. Что-то невнятное происходит; не поймешь, где тут слава и где стыд. И в довершение всего до того обнажились, что даже на табак подчаску не из чего дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Каким чудом случилось, что, обнажаясь все

больше и больше, они постепенно выродились в пропащих людей?

История этого превращения для охранителей представляет какую-то неисповедимую загадку. Но еще более загадочным кажется то, что, несмотря ни на какие умертвия, пропащий человек все-таки еще жив состоит. Жизнь с пассивным упорством держится в этом расшатанном организме, держится наряду с явным оголтением... И кто знает? Может быть, именно благодаря этому упорству была одна минута, когда казалось, что вот-вот все русское общество вступит на стезю абсолютного и бесповоротного бесстолбия... Да, было и такое время, было! все в русской жизни было! Такое было время, когда все смешалось, когда самые несомненные столпы, казалось, потонули в зияющей бездне, чтобы не вынырнуть из нее никогда! Хорошо, что Бог пронес мимо эту дурную фантазмагорию; но охранители и доныне не могут забыть о кратком периоде этого «чуть-чуть не бесстолбия» и, разумеется, вспоминают о нем не только с тоскою, но и с омерзением... Было такое время... га!

Да, слово «столп» не пустой звук, но одна из тех живых и несомненных конкретностей, временное исчезновение которых производит заметную пустоту в кодексе благоустройства и благочиния. Столпы – это выдающиеся пункты, около которых ютится мелкота,

иногда ропщущая, но в большинстве случаев безнадежно изнемогающая. Столпы дают тон этой мелкоте, держат ее в изумлении, не допускают обрасти. Одним своим присутствием они с большим успехом устраняют вредные мечтания, нежели самые деятельные расследования корней и нитей. Расследование налепит и исчезнет; столпы же всегда тут, безотлучно... вплоть до изгоя. Мелкота с суеверным страхом взирает на их незыблемость и инстинктивно понимает, что совместное существование незыблемости и мечтаний – дело не только невысказанное, но и прямо противоестественное. Едва рожденные, вредные мечтания тут же немедленно и умирают. Или, лучше сказать, что даже не рождаются, а только от времени до времени заносятся в виде эффектного слуха со стороны, не поселяя в столпах ни малейшей тревоги своим эфемерным появлением...

Вот почему столпы считаются существеннейшим подспорьем, и вот почему, когда наступает момент изгоя, благоразумные охранители заранее подстерегают этот момент и делают нужные приспособления, дабы старые, подгнившие столпы были немедленно заменены новыми...

Ныне, к безмерной радости охранителей, пробел, причиненный кратковременным бесстолбием, пополнен. «Чумазой человек» в виду у всех; человек све-

жий, непреклонный и расторопный, который, наверное, освободит охранителей от половины гнетущей их обузы. Нет нужды, что он еще недостаточно поскоблится, что он не тронут наукой и равнодушен к памятникам искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: распивочно и навывнос... Охранитель видит в этом не препятствие, но залог. Чем меньше бродит в обществе превыспренности, тем прочнее оно стоит – это истина, которая ныне бьет в глаза даже будочникам. Что такое «общество»? – это фикция и больше ничего. Об этой фикции от времени до времени упоминается, потому что совсем забыть о ней как-то совестно, но, в сущности... Ах, тем-то ведь и дорог «чумазый человек», что, имея его под рукой, обо всех вообще фикциях навсегда можно забыть, и нисколько не будет совестно. Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода» – ничто ему доподлинно неизвестно! Ему известен только грош – ну и пускай он наделает из него пятаков!

Следом за охранителями приветствуют чумазого человека и публицисты. Никогда не было потрачено столько усилий на разъяснение принципов собственности, семейственности и государственности, никогда с такой настойчивостью, с такими угрозами не было говорено о необходимости ограждения этих принци-

пов. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего так усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? – все ради вас, кабатчики и менялы! все ради того, чтобы для вас соответствующую обстановку устроить и ваше пришествие приличным образом объяснить.

В старое время и в обществе, и в литературе было насчет этого более нежели просто. Люди наиболее заинтересованные столь же мало думали о вопросах собственности, семейственности и государственности, как мало думает человек, которому приходится периодически совершать один и тот же путь, о домах и заборах, стоящих по обеим сторонам этого пути. Зачем мне, крепостных дел мастеру, было напоминать о существовании каких-то «принципов» собственности, семейственности и государственности, когда я сам был ходячим гимном этим принципам? Зачем мне было подстрекать самого себя на постижение каких-то усложнений, когда стоило только протянуть руку, чтоб без всякого постижения получить желаемое? Все эти «принципы» я не имел надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать их, потому что они представляли собой стихию, до такой степени мне родную, что я только весело плавал в ней как рыба в воде. Мне и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть в ней (знаю, что под конец я захлебнулся-та-

ки, но ведь зато и наплавался же!). Ничем она не угрожала мне, а только ласкала и нежила.

И вдруг все изменилось. По воле судеб, настал период бесстолбия и всех напугал. Начали рыться, доискиваться причин и, наконец, пришли к такому заключению, что даже и в родной стихии нельзя бессрочно плавать, не понимая, что делаешь. Умозаключение это прямо противоречило исторической практике, победоносно доказавшей, что столпы именно до тех пор и стоят крепко, пока крепко стоит бессознательность, но так как бесстолбие одолевало, то приходилось довольствоваться хоть каким-нибудь выходом, чтобы так или иначе освободиться от ненавистного влияния. Понадобилось уяснить составные части стихии, указать наилучшие способы управления ею. Вот эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совсем не так проста, как это казалось нам, крепостных дел мастерам, что, напротив того, она представляет сплошную цепь больших и малых «принципов», которые постоянно и ревниво надлежит держать перед глазами, дабы благополучно провести свою ладью к желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявилась необходимость «принципов», то, само собой разумеется, потребовались и знаменосцы для них. Мы, крепостных дел мастера, не могли быть таковыми, во-первых, потому,

что людей, однажды уже ославленных в качестве выслуживших срок, было бы странно вновь привлекать к деятельному столпослужению, а во-вторых, и потому, что, как я уже сказал выше, над всей нашей крепостной жизнью тяготел только один решительный принцип: как только допущены будут разъяснения, расчленения и расследования, так тотчас же все мы пропали! Требовались люди более подходящие, такие, которые зубами вцепились бы во врученные им знамена и всечасно памятовали, что плошать в деле держания знамен – отнюдь не допускается. Такими людьми оказались – вы, кабатчики, железнодорожники, менялы и прочие мироедских дел мастера. Публицисты отлично угадали, что цепче вас в настоящее время людей не найти, и в восторге от этой находки воскликнули: «Долой бесстолбие! вот они, новоявленные наши столпы!»

И точно: бесстолбие как-то вдруг кануло, и ежели об нем изредка вспоминают и теперь, то для того лишь, чтобы с пылающими от стыда щеками воскликнуть: ужели когда-нибудь был этот позор? Отныне на вас, кабатчики и менялы, покоятся все упования. Вы совершите то, что не сумели свершить даже мы, ваши достославные предшественники: вы с неумолимой логикой проведете принцип умиротворения посредством обездоления. Мы, крепостных дел

мастера, как-то задумывались перед громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы нас останавливали на этом пути какие-нибудь соображения высшего порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вплотную, то из этого, чего доброго, в конце концов произойдет обездоление нашей собственной утробы. Вы и в этом отношении поставлены гораздо выгоднее, нежели мы. Арена вашего обездоления так бесконечна и так загадочна, что даже при самой неисповедимой наглости всегда будет казаться, что еще не все вычерпано, что затерялся еще где-то уголок, в котором процесс обездоления не совершил всего своего круга.

Ввиду столь несомненных свидетельств и я, Прогорелов, не имею возможности сомневаться: да, вы грядете – это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, уверенность эта не наполняет моего сердца сладкой надеждой, но, напротив, заставляет меня с некоторым трепетом приподнимать завесу будущего и отыскивать там совсем не те ликующие тоны, которые обещают наши охранители и наши публицисты.

Не думайте, однако ж, кабатчики и менялы, что я сгораю к вам завистью и что именно это дурное чувство препятствует мне приветствовать вас. Нет, тут совсем не то. Вот уж двадцать лет сряду, как я состою в звании пропадающего человека, и мне кажется, что это-

го периода времени вполне достаточно, чтобы пролить бальзам забвения на какие угодно сердечные ропоты. На первых порах я действительно волновался и представлял из себя не то невинно-падшего, который успел-таки припрятать в укромном месте кой-какие уцелевшие крохи, не то человека, приведенного в восторженное состояние от беспрерывной молотбы по голове. Под влиянием свеженанесенной обиды я или ехидствовал, или извергал целые потоки ропотов, причем так бестолково кричал, что не только не вникал в смысл собственных речей, но в большинстве случаев за гвалтом не умел даже хорошенько расслышать их. Но вдруг промелькнула светлая минута. Я вслушался, вник и... покраснел. Я понял, что мой ропот был чем-то нелепым по существу и бесконечно неуклюжим по форме; что по существу я обнаружил только голую алчность, а по форме – только беззаветнейшую невежественность. С тех пор я смирился и замолчал. Изредка, правда, и теперь кое-что сболтну в одном из тех тихих приютов, которые известны под именем земских учреждений, но сболтну неуверенно и как-то невнятно, с пропусками. Точь-в-точь как органчик, которого вал от времени и жестокого обращения утратил три четверти своих колышков.

И знаете ли что еще? С тех пор, как я покраснел и осознал, что титул пропащего человека прикреплен

за мной бесповоротно, – я полюбил это скромное звание. Иногда мне даже сдается, что оно близко граничит со званием человека вообще, что в этом качестве ему предстоит хорошая и прочная будущность и что ежели для увековечения родов пропащих людей не будет заведено бархатных и иных книг, то не потому, чтобы люди сии не были того достойны, а потому, что, раз испытав тщету увековечений, они и сами едва ли пожелают их возобновления. Повторяю: я до того примирился с мыслью, что я пропащий человек, что воспоминания минувшей славы уже не пробуждают во мне ни бесплодной горечи, ни несбыточных надежд. Я знаю, что история назад не возвращается, что даже гнусное не повторяется в ней в одних и тех же формах, но или развивается в формы гнуснейшие, или навсегда прекращается, и что, стало быть, Прогореловым – как бы они ни вопияли – повториться в прежних формах (а новых они сами не выдержат) не суждено. Одно меня заботит в моем новом положении: сумею ли я настолько совладать с собою и со своим прошлым, чтобы сделаться воистину порядочным пропащим человеком, то есть человеком долга, добра, чести и труда?

Итак, не по чувству зависти я воздерживаюсь от поздравления вас с приездом, а просто потому, что меня берет оторопь. И не за себя я боюсь – чего уж! из

меня всё, даже страх вынули! – но за отечество.

Как ни бесшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки я на своем веку, а тем временем кое-что и попристало ко мне. Я, Прогорелов, грамотен – вот в чем суть. Преимущество ли это мое, или злосчастье – всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мне непостыдно и безболезненно (по крайней мере относительно) перебраться из категории столпов в категорию пропащих людей; это злосчастье, – потому что грамота же помешала мне всецело отдаться восторгам возрождения и этим самым уподобила мое существование ладье, плавающей по волнам житейского моря без кормила и весла.

Правда, что моя грамота – нельзя сказать, чтоб чересчур уж сложная, но важно уж и то, что она потревожила мой почивавший внутренний мир и в то же время внушила мне вкус к некоторым нелишним наблюдениям и оценкам.

Благодаря этим наблюдениям, я знаю, например, что независимо от клейменных русских словарей в нашей жизни выработался свой собственный подоплечный словарь, имеющий очень мало сходства с клейменными. И представь себе, Разуваев, что когда речь идет о выражениях еще не утвердившихся, новоявленных, каковы, например: интеллигенция, куль-

тура, дирижирующие классы и пр., то я положительно предпочитаю последний первым. Я инстинктивно чувствую, что клейменные словари фаталистически обречены на повторение задов. Их мирозерцание – мое мирозерцание; условности, которые связывают их, суть те же, которые связывают и меня; словом сказать, словари эти, несомненно, сочинены самим мной еще в ту эпоху, когда я как сыр в масле катался. Так что если б я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное так навсегда и осталось бы для меня сомнительным и неясным. Но, по счастью, рядом с клейменными словарями существует толковый интимно-обывательский словарь, который провидит и отлично объясняет смысл даже таких выражений, перед которыми клейменный словарь стоит, уставясь лбом в стену. Вот к этому-то неизданному, но превосходнейшему словарю я всегда и обращаюсь, когда мне нужно вложить персты в язвы.

Возьмем хоть бы данный случай. Везде кругом говорят: грядут кабатчики, менялы, железнодорожники и прочие мироедских дел мастера. Желая объяснить себе это явление, я прежде всего обращаюсь к обывательским наблюдательным реестрам и вижу, что вы значитесь в них тако:

Разуваев, Анатолий, бывший халуй (понимаю). Занимается кабаками, а ныне, сверх того, и *интели-*

генцией (не понимаю).

Губошлепов, Иона, бывший целовальник (понимаю). Занимается поставкой для армии и флотов гнилых сухарей (еще бы не понимать!), а ныне, сверх того, *дирижирующий класс* (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистов, подчасков и прочих экспертов науки подчеркнутые мною определения вполне ясны, но для меня – человека только потревоженного наукой – нет. Поэтому я, по старой привычке, беру сначала клейменный словарь и спешу справиться в нем: что сей сон значит? Но увы! никаких утешений в нем не обретаю, кроме того, что интеллигенция есть интеллигенция, а правящий класс есть тот, который правит. Тогда я припоминаю, что у нас есть еще неизданный интимно-обывательский толковый словарь, мысленно разворачиваю его и читаю следующее:

Интеллигенция, или кровопивство...

Правящий класс, или шайка людей, втихомолку от начальства объегоривающая...

Дальше я уже не читаю: с меня довольно. Искомая язва глядит мне прямо в глаза, зияющая, обнаженная, вполне достоверная. Нет нужды, что прочитанные определения противоречат бессознательной номенклатуре, усвоенной мною с пеленок: то, что открылось передо мной, так прозрачно-ясно, что я забываю

все пеленки, заподозреваю все клейменные словари и верю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому подоплечному толковому русскому словарю!

И затем целый ряд мыслей самого внезапного свойства так и роится в моей голове.

Горе – думается мне – тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна! наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство!

Горе той веси, в которой публицисты безнужно и настоятельно вопиют, что семейство – святыня! наверное, над весью этой невдолге разразится колоссальнейшее прелюбодейство!

Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все грубы трубит: государство, mon cher! – c'est sacrrrrre!¹⁶ Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог!

А работа воображения не только не отстает от работы мысли, но, по обыкновению, даже опережает ее. Картины следуют за картинами... ужас! Представьте себе эту неусыпающую свару, в которой отнятие перемешано с прелюбодеянием и терзанием пирога! Осуществите ее в целой массе лиц, искаженных жаждой любостяжания и любострастия, заставьте этих лю-

¹⁶ Мой милый – это свящщщщенно! (фр.)

дей метаться, рвать друг друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и в довершение всего киньте куда-нибудь в угол или на хоры горсть шутов-публицистов, умиленно поющих гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина более потрясающая? Бежать от них! бежать! бежать! – вот единственная мысль, которая угнетает мозг при виде этих озлобленных, бесноватых существ. Но куда бежать?

Вот чего я, Прогорелов, страшусь и чего – увы! – я не могу не провидеть в ближайшем будущем. Воистину говорю: никогда ничего подобного не бывало. Ужасно было крепостное мучительство, но оно имело определенный район (каждый мучительствовал в пределах своего гнезда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о мироеды и кровопийственных дел мастера! есть мучительство вселенское, не уличимое, не знающее ни границ, ни даже ясных определений. Ужели это прогресс, а не наглое вырождение гнусности меньшей в гнусность сугубую?

Интеллигенция! дирижирующие классы! И при сем в скобках: «сюжет заимствован с французского»! Слыханное ли это дело! И как ответ на эти запросы – «Разуваев, бывший халуй»! Разуваев, заспанный и пахучий, буйный, бесшабашный, безвременно оплывший, с отяжелевшей от винного угара головой

и с хмельной улыбкой на устах! Подумайте! да он в ту самую минуту, как вы, публицисты, призываете его: иди и володей нами! – даже в эту торжественную минуту он пускает враскос глаза, высматривая, не лежит ли где плохо?

Знает ли он, что такое отечество? слышал ли он когда-нибудь это слово? Ах, это отечество! По-настоящему-то ведь это нестерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, вконец изводящая человека – вот какое значение имеет это слово! А Разуваев думает, что это падаль, брошенная на расклевание ему и прочим кровопийственным дел мастерам!

Но да свершится. История имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить. Это, конечно, не слепой фатализм, перед которым не остается ничего другого, как преклониться, и не произвол, которому люди подчиняются, потому что за ним стоит целый легион темных сил; но все-таки это закон, и именно закон последовательного развития одних явлений из других. Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки – вот почему они в большинстве случаев кажутся нам внезапными или произвольными. Но подготовка эта, несомненно, существовала, только мы, ошеломленные исконной репу-

тацией несменяемости, которую пользовались явления предшествующие, проглядели ее. Так что когда новые вещи, новые порядки и новые дела являются во всеоружии совершившегося факта, то мы видим себя бессильными не только для борьбы с ними, но и для смягчения бесполезных наглостей подкравшегося торжества.

Увы! мироедский период, очевидно, еще не исчерпал всего своего содержания. Ему еще предстоит сказать решительное слово, и чем ближе к концу будет приходить его речь, тем жестче и неумолимее выскажется это последнее слово. Жизнь выработала известную сумму приманок, имеющих, несомненно, кровопийственный характер, и покуда эти приманки носят название утех, к ним все-таки не перестанут устремляться завистливые взоры тех, кто не боится рисковать или кто суеверно надеется на свою счастливую звезду. Покуда мудрость текущей минуты будет учить, что ввиду устранения жизненных огорчений человеческое естество необходимо упразднить, а на место его водворить и утвердить естество волшебье, до тех пор всякий могущий вместить будет прямо или косвенно черпать из кладезя этой мудрости. Принцип утех – великий принцип, которому суждено вечно пленять человеческие сердца, и ежели тут есть беда, то не в том, что люди желают наслаждаться

утехами, а в том, что по обстоятельствам эти утехи нередко получают характер звериный и человеконенавистнический. Вот, когда жизнь выработает нового сорта утехи, тогда сам собою изноет и мироедский период. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестоких и бесчеловечных слов и долго оставаться безмолвным свидетелем всякого рода бесстыжеств и неключимостей.

Как бы то ни было, но я взялся за перо совсем не с тем, чтобы протестовать. Я только намерен высказать несколько благожелательных соображений, которые, по мнению моему, вам, новоявленным столпам, в видах собственной пользы, не лишне было бы принять к сведению.

Я сам, пропащий человек Прогорелов, был в свое время столпом и сам бесчисленно прегрешал. Я был и отнимателем, и прелюбодеем, и изменником казенного интереса, и не только не полагал в том греха, но и вполне искренно был убежден, что именно на этих трех китах мир стоит. Только теперь, когда меня бесповоротно произвели в чин пропащего человека, я понял, что никаких тут китов нет. Во всяком случае, то, что мне предстоит сказать по этому поводу, будет плодом моего собственного опыта и моей собственной долголетней мироедской практики. Стало быть, верно.

Начнем с отечества. Ответь, Разуваев! знаешь ли ты, что такое отечество?

Сделавши этот вопрос, я, натурально, стараюсь уловить, какое он произвел на тебя впечатление. И должен сказать, что впечатление это, на мой взгляд, не весьма удовлетворительное. Прежде всего ты изумлен и тарачишь глаза, словно спрашиваешь: и зачем ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее в себе «филантропию»... Потом, однако ж, ты начинаешь шутки шутить, зубы заговаривать: кто же, мол, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я из учтивости об нем умалчиваю) не знает! Но наконец, прижатый к стене, ты как-то загадочно киваешь в ту сторону, где имеет квартиру становой пристав Грацианов.

Твой кивок в сторону Грацианова убеждает меня, что ты смешиваешь отечество с начальством, или, по малой мере, ставишь представление о первом в зависимость от представления о последнем. Исполнять приказания начальства – вот, по-твоему, что значит быть истинным сыном отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за теми же разъяснениями обращаюсь к твоему публицисту (он тебя провидел, облюбовал, он же, стало быть, обязывается и отвечать за тебя), в ча-

нии, что этот шустрый малый сумеет яснее формулировать то, что ты в столповой своей необрезанности только бормочешь. Но увы! и от него ничего, кроме бормотания, в ответ не слышу. Он легкомысленно перебегает от одного признака к другому; он упоминает и о географических границах, и о расовых отличиях, и о равной для всех обязательности законов, и о присяге, и об окраинах, и о необходимости обязательного употребления в присутственных местах русского языка, и о господствующей религии, и об армии и флотах, и, в конце концов, все-таки сводит вопрос к Грацианову. Словом сказать, он тоже смешивает отечество с государством и правительством, подчиня представление о первом представлению о двух последних.

Смею тебя уверить, однако ж, что представления эти совершенно различные и что смешение их может привести к таким запутанностям, которые на практике бывают равносильны бедствиям.

Итак, в чем же тут различие?

Прежде всего отечество – привлекает; государство – обязывает; начальство – приказывает. Все это функции, конечно, очень почтенные, но и за всем тем совершенно различные. Дальше. Представлению об отечестве соответствует представление о нравах и обычаях, об играх, песнях и плясках, о приметах и суевериях, о пословицах, поговорках, притчах и сказках

и, наконец, о том неклеяменом, но несомненно ходячем словаре, о котором я упоминал уже выше. Представлению о государстве соответствует представление о законах, о комиссиях, издающих сто один том трудов, о географических границах, об армиях и флотах, о податях и повинностях, о казенных учебных заведениях, о дипломатических нотах и о клейменных словарях. Представлению о начальстве соответствует представление о департаментах, канцеляриях и штабах, о предписаниях, подтверждениях и о тщетных ожиданиях на сии предписания ответов, о маршрутовках и обмундировках, о наградах, повышении, увольнении и перемещениях, и, наконец, паки о предписаниях и подтверждениях.

Отечество говорит тебе кратко: живи! даже не прибавляя при этом: играй, пой песни, пляши, сказывай сказки и пр. Оно знает, что и без его напоминания все сие тебе свойственно. Государство тоже говорит: живи! но прибавляет: и повинуйся закону. Начальство выражается так: живи, но ожидай предписаний и подтверждений!

Ужели и теперь не ясно, что это функции, совершенно друг от друга отличные?

Но будем продолжать наши сравнения.

Отечество есть тот таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь отчетливо

для себя определить, но которого прикосновение к себе ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной пуповиной. Он, этот таинственный организм, был свидетелем и источником первых впечатлений твоего бытия, он наделил тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел и приютил тебя, словом сказать, сделал из тебя существо, способное жить. И всего этого он достиг без малейшего насилия, одним теплым и бесконечно любовным к тебе прикосновением. Он сделал даже больше того: неусыпно обнимая тебя своей любовью, он и в тебе зажег священную искру любви, так что и тебе нигде не живется такой полной, горячей жизнью, как под сенью твоего отечества. Ты слово скажешь – в отечестве тебя понимают; ежели это слово умное, – возвеличат и воздвигнут монумент; ежели оно глупое, – забранят и простят. Ты сделаешь движение – в отечестве сразу угадывают, куда оно клонится; ежели это движение осмысленное, – скажут: даже жест у него умный и благородный! ежели оно нелепое и противоестественное, – определят в актеры в Александрийский театр: играй с Новиковым и Петипа! Всякий поступок твой в отечестве оценят, не прикидывая к нему абсолютных критериумов, а довольствуясь правилом: по здешнему месту и так сойдет! Самый пло-

хой человек – и тот найдет в своем отечестве массу таких же плохих людей, которые будут вместе с ним на бобах разводить, вместе есть печатные пряники, вместе горевать и радоваться. Даже мерзавец – и тот обрящет целую уйму сомерзавцев, с которыми может по душе поговорить. Нигде на чужбине ты ничего подобного не найдешь: ни сочувствия, ни снисходительности, ни даже порицаний. Везде, кроме своего отечества, ты чужой; ни тебя никто в земские учреждения не выберет, ни ты никого в земские учреждения не выберешь. Только в отечестве тебе до всего дело, даже в таком отечестве, где на каждом шагу тебе говорят: не суйся! не лезь вперед! не твое дело! Пускай говорят! ты все-таки всем существом своим сознаешь, что дела у тебя по горло и что, если б ты даже желал последовать совету о несовании носа, никак это невозможно выполнить, потому что дело само так и подступает к твоему носу. Словом сказать, только тут, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способным к жизни существом, хозяином «своего дела», человеком, которого понимают и который в то же время сам понимает.

Все эти блага наполняют твое существо такой полнотой довольства, какой ничто другое не может тебе дать. А довольство, в свою очередь, полагает начало другому не менее сладкому чувству – чувству

признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его в чем-нибудь конкретном, и в этих поисках прежде всего наталкиваешься на своих соотечественников. Кто дал тебе это чувство довольства? кто дал тебе славу, ежели ты силен, и снисхождение, ежели ты слаб? Кто окружил тебя почетом, или накрыл покровом забвения, смотря по тому, что ты заслужил? Кто сказал тебе: вот в чем твоя заслуга и вот в чем твой стыд? Все это дали и сказали тебе твои соотечественники. Во всяком другом месте, от всех других людей ты слышал только один разговор: столько-то франков и столько-то сантимов; только здесь, в отечестве, с тобой разговаривали по-человечьему, только здесь признали в тебе существо, которое можно хвалить или порицать и которого действия, во всяком случае, следует считать обязательно-вменяемыми. Как же тебе не быть бесконечно признательным этим людям, которые ни разу не проглядели в тебе человека, которые могли любить, ненавидеть, даже презирать тебя, но одного не могли: остаться к тебе равнодушными? Как тебе не считать себя солидарным с ними, как всеминутно от глубины благодарного сердца не восклицать: о, плоть от плоти моей и кость от костей моих! – когда и у них при виде твоём дыхание спирается в зобу? Как не броситься в огонь и в во-

ду ради присных твоих? как не принять смерть, мучительство, позор ради друзей твоих? О, Разуваев! сделай милость, пойми меня! ведь они, они одни признали в тебе подлинного человека, одни они напоили тебя и радостью, и мучительством, и позором, – какой же высшей награды можно желать?

Вот отчего говорится, что нет отечества краше собственного отечества; вот отчего ни об чем не болит сердце такую острую болью, как об отечестве. Люди изнывают под непосильным бременем этой боли, сходят с ума, решаются на самоубийство. Стоит одинокий человек где-нибудь на берегу Средиземного моря среди залитой лучами солнца природы и чувствует, как капля по капле истекает его сердце кровью. Ах, что-то там делается, в этих дорогих сердцу палестинах, где «С.-Петербургские» и «Московские Ведомости» издаются (wo die Citronen blühen ¹⁷)? Чай, Феденька Неугодов закусывает, Петр Толстолобов цыркает... ах, так бы и летел туда! хоть невидимкой посидел бы в том заседании комиссии, когда она, издав сто один том трудов, сама, наконец, приходит к заключению, что всё земное ею свершено и что затем ей ничего другого не остается, как разойтись! Да, хочется и туда! не для смеха хочется, а потому что нутро горит по присным и друзьям, потому что память о них

¹⁷ Где цветут лимоны (нем.)

даже в лучах этого горящего солнца не может до конца потонуть!

До какой степени живуче это чувство неразрывности с отечеством даже в плохих людях, доказательством тому может служить следующий, правда, довольно банальный пример. Колесит гулящий русский человек по белу свету, сыплет марками и франками, уплачивает тринкгельды и пурбуары – и все ему почета ни от кого нет. Наконец, наступает решительный момент: жизнь в обществе кельнеров, гарсонов и метрдотелей наскучила, франки приходят к концу – айда домой! Начинаются расчеты: столько-то на расставание с Парижем, столько-то – на ознакомление по пути с садом Кроля, столько-то – на дорогу... И представь себе, Разуваев! такова сила инстинктивной веры в привечающие свойства отечества, что ежели нет совсем завалящих денег, то гулящий человек в своих путевых расчетах как-то совсем забывает Россию. Только бы до Эйдкунена доехать, а там как-нибудь... ведь там уж Россия! И действительно, доехали до Вержболова, а здесь уж давно ждут: пожалуйте по этапу! Ну что ж! по этапу, так по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваев, что разъяснения эти утомили тебя, но я остановился на них потому, что надо же тебе знать, что такое отечество и почему так естественно

его любить. Ведь ты грядешь с тем, чтоб играть роль, ты даже в обывательских книгах в графе «чем занимается» отмечен: «дирижирующий класс» – надо же, чтоб ты понимал, что именно разумели наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет. Но, сверх того, я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свете существуют легионы вертопрахов, которые слишком охотно говорят о прекращении и вовсе не думают о том, что отечество не прекращать, а любить надлежит. Пускай и они тронутся моими стенаниями, пускай скажут себе: да, он прав! если мы присных своих предадим расточению, то с кем же сами останемся? кто будет нас красавцами называть?

Идея отечества одинаково для всех плодотворна. Честным она внушает мысль о подвиге, бесчестных – предостерегает от множества гнусностей, которые без нее, несомненно, были бы совершены. Есть еще и другая идея, в том же смысле плодотворная, – это идея о суде потомства; но так как она непосредственного действия не оказывает, то и доступна лишь людям, не чуждым обобщений. Тогда как мысль о том, как будет принят тот или другой поступок в среде соотечественников, бьет прямо в чувствительное место и отчасти имеет даже угрожающий характер. Ибо нет презрения существеннее того презрения, которым пользуется человек от своих соотечественников.

Но, может быть, ты скажешь на это: ведь сам же ты за несколько страниц выше утверждал, что и мерзавцу в своем отечестве веселее, потому что он найдет там массу вполне однородных сомерзавцев, с которыми ему можно душу отвести; стало быть, дескать, и я подберу подходящую компанию, и будем мы вкупе сомерзавствовать, а до прочего нам дела нет. Прекрасно; действительно, ты можешь такую компанию обрести. Но ведь ежели я рисовал тебе подобную перспективу, то, право, не для того, чтоб ты непременно в ней искал себе успокоения, а только на случай крайности. Не спорю, можно так искусно нырнуть в шайку специалистов, что ею, так сказать, от всего остального света себя загородить, но не забывай, что в такой шайке тебе предстоит только бражничать да по душе калякать, а ведь тебе, главнейшим образом, надо обьегоривать и дела делать. Вот эти-то последние функции и вынудят тебя от времени до времени выбегать из шайки и обращаться к прочим партикулярным людям. Теперь представь себе следующее. Допустим, что ввиду засилия, которое ты взял, партикулярные люди не посмеют совершенно уклониться от сношений с тобой; но так как им известно, что ты несомненный кровопивец, то они непременно хоть частицу сокровища да утаят от тебя. Если же им о кровопивстве твоём неизвестно, если ты сумел – не скажу сделать-

ся честным человеком, но, по крайней мере, прикинуться таковым, то они не только все свое сокровище, но и тела, и души – все полностью тебе препоручат. Не ясно ли, что даже в таком деле, как облапошивание, быть кровопивцем загадочным выгоднее, нежели неприкрытым нахалом, который всей своей физиономией только что не говорит: что ж ты задумался, не плюешь в меня? плюй!

Осторожность и загадочность – вот школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы в тебе воистину видели «дирижирующий класс». Ибо обыватель простодушен и ежели видит, что на него наступают с тем, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку неведомо где сосут, он только перевертывается.

Теперь – о государстве. Эта идея тоже плодотворная, но только в другом роде и в другой степени. Но ты и ее смешиваешь с Грациановым, а публицисты твои – с цензурным ведомством, а потому надо и в данном случае кое-что тебе пояснить. Скажем так: отечество – от Бога, государство – дело изобретательности человеческого ума. Вот главное и существенное различие между отечеством и государством; остальные подробности ты можешь сообразить сам по тому же масштабу. Необходимо, впрочем, помнить еще следующее: в представлении о государстве ты не встре-

тишься ни с подблюдными, ни со свадебными песнями, ни со сказками, ни с былинами, ни с пословицами, – словом сказать, ни с чем из всего цикла тех нежащих явлений, которые обдают тебя теплом, когда ты мыслишь себя лицом к лицу с отечеством. Ничего подобного государство тебе не даст, но у него имеется в руках громадная привилегия: оно властно обеспечить или не обеспечить твоему отечеству спокойное пользование этими благами. Это обстоятельство очень важно, и ты отнюдь не должен упускать его из виду, если хочешь умненько вести дела свои. Так что ежели, например, ты сдуру будешь молить Бога, чтоб государство не обеспечивало хороводов и игр, но воспрещало и преследовало оные, то, во-первых, молитва твоя не будет угодна Богу, а во-вторых, ты сам же первый почувствуешь на себе ее неблагоприятные последствия, если провидение допустит осуществление ее. Знай, Разуваев, что только народы веселые и хороводолюбивые к объегориванию ласковы; народы же угрюмые, узаконениями непосильно изнуряемые, даже для самых изобретательных кровопивцев дают мало пищи. Отданные в жертву унылости, они безмолвно изнемогают без малейшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тело. Кости да кожа – поистине с такого одра больше двугривенного и ожидать нельзя! Это не я говорю, а история.

Не менее плодотворна и идея о начальстве. Идея эта тебе небезызвестна – этого отрицать нельзя; но все-таки скажу: даже и ее ты как-то неблагородно представляешь себе. Начальство представляется тебе чем-то таким, что наполняет криком вселенную, а в свободное от криков время принимает барашка в бумажке. Нет, это не так; это идеал, уже вышедший из употребления, и притом такой, который не за что было бы любить. Но не любить начальства нельзя, так как и оно, совместно с государством, для того установлено, дабы наидействительнейше обеспечивать неприкосновенность хороводов и игр. А потому, ежели ты будешь в молитвах своих упоминать об начальстве (это полезно «да тихое житие поживем»), то проси Бога так, чтобы в начальственных распоряжениях было больше снисходительности и менее настоятельности и чтобы, не теряя из виду спасительной строгости, начальство в то же время памятовало, что и оно, яко из человеков состоящее, прегрешать может. Именно так и молись, ибо в противном случае результат один: кости да кожа, с его неизбежным последствием в форме постепенного закрытия заведений, гласящих: распивочно и навынос.

Итак, три главных объекта предстоят для твоей, Разуваев, любви:

Во-первых, отечество, которое ты обязываешься

любить – будем говорить кратко – за то, что оно твое отечество и его тебе дал Бог.

Во-вторых, государство, которое ты должен любить ради отечества, дабы последнее не впало в уныние и свойственные ему игры и смехи неповрежденными сохранило.

В-третьих, начальство, которое ты должен любить тоже ради отечества и по той же причине.

Как видите, во всех трех случаях отечество стоит на первом плане. Я знаю, что для тебя это сущий сюрприз, но что же делать, мой друг! я бы и сам рад всех поровнять, но так уж выходит.

Повторяю: все сейчас изложенное я высказал по собственному опыту. Когда я был столпом, то так же, как и ты, Разуваев, ровно ничего не понимал. Для меня это было еще постыднее, потому что я грамотен. Грановского слушал, Белинского читал, восторгался, трепетал от умиления – и, представь себе, все эти восторги и умиления я словно во сне или в фантастическом представлении проделывал! Отслушаешь, бывало, Грановского, а через час, как ни в чем не бывало, думаешь: а что, кабы кто у меня душу купил! Каким образом происходил чудодейственный процесс этого жизненного двоегласия, – об этом целые тома психологических исследований можно написать; но он происходил несомненно, и я был в нем действу-

ющим лицом. Я без умолку болтал о любви к отечеству – и в годину опасности жертвовал на алтарь отечества чужие тела; я требовал, чтоб отечественный культ был объявлен обязательным, но лично на встречу врагу не шел, а нанимал за себя пропойца. И в довершение всего я снабжал пожертвованных и нанятых мною «защитников» сапогами на картонных подошвах и, прося у Бога побед и одолений, нимало не думал о том, далеко ли уйдут на картонных подошвах мои ратнички... И вот за это теперь – я пропащий человек.

Я говорил себе: отечество – святыня! об этом во всех стихотворениях упоминается. Но ежели мое личное процветание не поставлено в прямую зависимость от процветания отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процветать особо. Правда, в моей голове иногда мелькала мысль, что это вывод лукавый и постыдный, что, следуя Грановскому и Белинскому, его надлежало бы как раз выворотить наизнанку, то есть сказать: ежели мое личное процветание не поставлено в зависимость от процветания отечества, то я сам, по совести, обязан устроить эту зависимость; но я как-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочитал оставаться при первоначальной редакции. Я срывал цветы удовольствия, а соотечественники мои унывали; я праздновал, а со-

отечественники мои повинны беша работе; я был изъят от телесных наказаний, а соотечественники мои были изъяты от наград. И в то же время я слушал Грановского, восторгался, восклицал: отечество – святыня! И вот за это теперь – я пропащий человек!

Прорывались, однако ж, минуты, когда мне думалось: а ведь, несмотря на процветание, все-таки в моем существовании есть что-то непрочное и как бы неблагоприятное. Куда бы я ни сунул свой нос, везде навстречу мне раздавался окрик: чего с жиру бесишься! твоё дело не лезть, а другим пример подавать! «Подавать пример» – это, по тогдашнему времени, значило: собственным телом такую филантропию пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совал. И что же! первого окрика было вполне достаточно, чтоб я убедился. Мне как-то сразу сделалось ясно, что, действительно, я с жиру бешусь, а не по настоящей внутренней нужде действую, что, в сущности, для меня даже выгоднее не совать носа, потому что тогда и в мою мурию никто носа не сунет. И, заручившись этой столповой мудростью, я ни за себя, ни за других – ни за кого пальцем не шевельнул. Ни за кого не заступился, никого не загородил грудью и в то же время умилялся и восклицал: отечество – святыня! И вот за это теперь – я пропащий человек.

Как в былое время мне ни до кого не было дела,

так теперь никому нет дела до меня. Никто ко мне не устремляется, никто от меня ничего не ждет, никто даже в толк не может взять, хочу ли я чего-нибудь, или просто блажу. А я между тем... понял! Я понял, что такое отечество, понял, почему оно вправе требовать от сынов своих жертв и даже самоотвержения, и – увы! понял даже и то, почему от меня лично оно ни жертв, ни самоотвержения не требует: оно лучше меня самого знает, что я дать ему ничего не могу. Оставленный всеми, отживший, выдохшийся, я обязываюсь изнывать в отчуждении, услаждая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сын или внук утопят звание пропащего человека в звание человека вообще и сына отечества в особенности. То есть тогда, когда даже потрохов моих в помине не будет. Скажи, можно ли представить себе боль, горшую этой!

Вот от этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваев. Не иди по стопам моим, и ежели достигнешь производства в столпы, то не понимай этого звания в чересчур буквальном смысле, но потщись из недвижимого имущества превратиться в движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственным лицом, а не чрез посредство наемников; не процветай особо, но совместно с твоими соотечественниками, не утопай в бездельничестве и равнодушии, но стой грудью за други своя, жертвуй своими интере-

сами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебе жалко поступиться рублем, то поступишь хоть двугривенным. Все это для тебя даже необходимее, нежели для меня. Мы, Прогореловы, столповали в такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, нежели понимали; тебе, Разуваев, предстоит столповать в такое время, когда даже и мелкоте приходит на ум: а что ежели этот самый кус, который он к устам подносит, взять да вырвать у него? И вырвут – не сомневайся, а тебя произведут в пропащие люди, и все это произойдет тем легче, что на твое место давно уж сам себя наметил новый столп: содержатель дома терпимости Ротозеев... Вот сколько вас там, в щелях, при- таилось... столпов!

Одним словом, люби отечество – и верь, что убытка не будет. А затем мне остается условиться еще насчет некоторых подробностей, и задача моя будет кончена.

По поводу вашего появления было поднято много разного принципиального разговора. Собственность, семейство, государство – вот триада, которую, по мнению охранителей и публицистов, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно; постараемся же сговориться, в какой мере и как ловчее все это осуществить.

«Собственность» – ты понимаешь достаточно, то есть всем своим нутром. Все, говоришь ты, что я

успел опустить в *свой* карман, поместить в *своей* квартире, запереть в *свою* шкатулку, все, что я могу по личному усмотрению перенести в другое место и в случае банкротства спрятать, – все это есть собственность движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховав в двойной ценности, поджечь, а вторые, исхлопотав от установленных баснописцев залоговые свидетельства (с виньетками и картинками), заложить в кредитном учреждении – это собственность недвижимая. То же самое говорят и твои юристы и публицисты, только с несравненно меньшей ясностью, что, впрочем, и вполне естественно, ибо на неясности почиет их право на получение гонорара.

Все это, однако ж, относится к собственности уже осуществившейся, то есть опущенной в карман, запертой в шкатулку, или получившей от нотариуса надлежащую санкцию. О том же, каким образом произошел процесс этого осуществления, тут вовсе умалчивается, а мне сдается, что с точки зрения принципиальностей это-то именно и важно. Каким образом запутался в твоём кармане рубль? как случилось, что, постепенно перекладывая запутавшиеся рубли из кармана в шкатулку, ты, наконец, воскликнул: а теперь пойдём к нотариусу и постараемся определить, что следует разуметь под именем недвижимого иму-

щества?

Ежели ты действительный поборник принципов, ежели ты воистину призван оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое беспокойство. Прямо тебе говорю: как насадитель и оградитель принципа собственности, ты должен таким образом вести свои дела, чтобы во всякое время дать отчет относительно способов приобретения. По крайней мере, я, Прогорелов, был в старые годы вполне на этот счет чистосердечен. Все, что вы видите, говорил я, все это перешло ко мне от папеньки и маменьки (были и исключения, но очень немногие), я же только одно усовершенствование в дошедшем имуществе допустил: заложил оное в опекуновском совете. По моему мнению, не меньшее чистосердечие в этом смысле обязываешься выказать, Разуваев, и ты.

Но тут-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покров давности (тоже, брат, принцип!), на другое – покров коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, так те даже прямо говорят, что так как в данном случае истцов в виду не имеется, то и надлежит в требовании чистосердечного отчета отказать. И отказывают, – что будешь делать! И даже правильно отказывают, потому что, допусти вас подноготную разворачивать, вы и сами искляузничаетесь, и других до смерти заклаузничаете.

Однако, для партикулярного человека это не резон, ибо он не юрист и не публицист, а простой сын отечества. Как только он замечает, что ответчик начинает ссылаться на отсутствие истцов, так тотчас начинает подозревать: а ведь отсутствующий-то истец, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человек!

Допустить, чтоб эта мысль утвердилась в нем, — очень невыгодно, потому что, развивая, проверяя и дополняя ее, он может прийти к выводам поистине поразительным. Как юрист, ты ясно понимаешь, чем ты вправе «воспользоваться», что вот это ты можешь «оттягать», а вот это — просто «отнять»; но партикулярный человек, как сын отечества, во всем этом сомневается. Как юрист, ты говоришь: как взял, так и отдай! — а он, как сын отечества, возражает: и все-таки ты поступай по-Божески! Как юрист, ты говоришь: своими ли глазами ты смотрел? своими ли руками брал?.. — а он, как сын отечества, возражает: и все-таки ты меня обманул, зубы мне заговорил! Как юрист, ты его убеждаешь: *ты* пропустил все сроки, не жаловался, не апеллировал, на кассацию не подал, кто ж виноват, что ты прозевал? — а он, как сын отечества, возражает: где ж это видано, чтоб из-за каких-то кляуз у меня мое отнимать? Как юрист, ты говоришь: я за своей собственностью блюду, а ты за своей блюди! а он, сын отечества, возражает на это: вор!

Конечно, все эти возражения ничтожны и будут оставлены без последствий, но когда живешь среди сынов отечества, то надобно заранее приготовиться к тому, чтобы и ничтожные возражения выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и в довершение всего каждый из них наивно думает: своего-то ведь жалко. Очень может быть, что это и предрассудок, но что же делать, мой друг! он настолько живуч, что не принять его к сведению – просто нельзя.

Я думаю, впрочем, что ты до известной степени удовлетворишь этому предрассудку, если признаешь совместное существование своей собственности и чужой. Это будет и просто и благородно. Неусыпно стеречь свою шкатулку и в то же время не подбирать ключа к шкатулке соседа; держаться обеими руками за рубль, запутавшийся в кармане, и в то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль в кармане присного... что может быть величественнее этого зрелища! Вот задачи, которые предстоит осуществить истинному радетелю принципа собственности, и, по-моему, это задачи очень хорошие, особенно ежели выражение о подборании ключа не принимать в исключительно буквальном смысле, но стараться как можно шире распространять его действие. Не пренебрегай ими, Разуваев! Не разоряй, не грабь и на вопрос: кого же ты будешь допекать после то-

го, как вконец допечешь обывателя? – не отвечай с нахальством: йён доста-а-нит! Нет, когда-нибудь наступит минута, что и он не достанет, ибо всякому доставанию положен предел, а следовательно, положен предел и твоим допеканьям!

Человек ни к чему не относится с такой чувствительностью, ничего так ревниво не оберегает, как ту совокупность материальных удобств, которыми он успел обставить свою жизнь. Малейший ущерб, приводящий к стеснению этой обстановки, заставляет его роптать и искать глазами, где обидчик? И так как обидчика имярек никогда налицо не оказывается, то он невольно приходит к необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тех горьких последствий, которые неизбежно должны произойти из подобных обобщений?

Итак, будь умерен и помни, что титул «дирижирующего класса», который ты стремишься восхитить, влечет за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти в том, что касается принципа собственности, гласят так: не укради! А так как по обстоятельствам времени такая редакция представляется чересчур уже строгой, то мы можем смягчить ее так: не до конца обездоливай, но непременно оставляй обывателю столько, чтобы изобретательность его и впредь

находила для себя повод изощряться. Ежели ты из рубля отнимешь половину, – это, я полагаю, будет вполне прилично; ежели ты отнимешь из рубля восемь гривенников, то это будет уж кровопийственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!

Затем на очереди стоит принцип семейственности, который тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прогореловы, достаточно-таки порасшатали этот принцип, или, лучше сказать, до того его обнажили, что, в конце концов, в нем ничего не осталось, кроме въезжего салона, в котором во всякое время происходили разговоры об улучшении быта милой безделицы. И вот, когда дети перестали поздравлять родителей с добрым утром и целованием родительских ручек выражать волнующие их чувства по поводу съеденного обеда, когда самовар, около которого когда-то ютилась семья, исчез из столовой куда-то в буфетную, откуда чай, разлитый рукой наемника, разносился по закоулкам квартиры, когда дни именин и рождений сделались пустой формальностью, служащей лишь поводом для выпивки, – только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожает действительная опасность. Начали думать, соображать, как этому делу помочь, и, разумеется, прежде всего бросились за справками. Оказа-

лось, что везде было так. Во всех странах цивилизованного мира, где Прогореловы заведывали делами культуры, везде они низвели семейный вопрос до уровня милой безделицы. Из драмы сделали оперетку, из совместного скитания – из спальни в детскую, из детской на кухню, потом в столовую, гостиную и обратно через все инстанции в спальню – вольное катание на тройках в трактир «Самарканд». И везде же на смену ослабевшим Прогореловым явились люди свежие, неиспорченные, которые тем с большей готовностью подняли брошенные в грязь знамена, что в совершенстве поняли, какую службу они могут сослужить. У всех на памяти, как ловко подняла в тридцатых годах знамя семейственности и домашнего очага западноевропейская буржуазия и как крепко она держалась за него, пока вечно достойная памяти Наполеон III при содействии Оффенбаха, Шнейдерши и нынешней неутешной вдовы не увлек ее в сторону милой безделицы.

Ввиду столь решительных справок предполагалось, что то же самое произойдет и у нас. Сначала Прогореловы расшатают, а потом кабатчики и менялы утвердят. Первая часть этой программы уже выполнена, но будет ли выполнена последняя – это еще вопрос.

Мне кажется, что наиболее существенным препят-

ствием в этом смысле явится род ваших занятий. Вы, кабатчики, железнодорожники и менялы, не имеете занятий оседлых и производительных, но исключительно отдаетесь подсживаньям и сводничествам. В согласность этому, и жизнь ваша получила характер кочевой, так что большую ее часть вы проводите вне домов своих, в Кунавине. Но о каких же принципах может быть речь в Кунавине?

Очевидно, что публицисты, возложившие на вас обязанность утвердить принцип семейственности, совсем проглядели эту обстановку. Их ввела в заблуждение ваша грубость, которую они приняли за патриархальность. В то время, когда у западноевропейского буржуа наполеоновского образца «l'eau vient a la bouche» – у вас «текут слюни»; в то время, как у того же буржуа из уст вылетает целый фейерверк милых мерзостей, – из вашей утробы извергается какое-нибудь односложное паскудство; в то время, как западный буржуа разговаривает, убеждает, умоляет, – вы, «глядя по товару», выкладываете более или менее крупную ассигнацию, кратко присовокупляя: Машка, пошевеливайся! Не спорю, с точки зрения ясности намерений, ваши «слюни» сравнительно менее паскудны, нежели французское «l'eau Ю la bouche», но спрашивается, что же, однако, общего между кунавинскими «слюнями» и семейственностью? О каком тут

«утверждении» может идти речь?

Поэтому в смысле семейственности я не надеюсь на тебя, Разуваев! Ничего ты не утвердишь. Но так как на тебя обращены все взоры и так как, в качестве новоявленной «интеллигенции», чаша сия ни в каком случае не минет тебя, то, по мнению моему, ты только тогда успеешь... ну, хоть притвориться поборником чистоты семейного очага, когда радикально изменишь род своих занятий. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсии в Кунавино, производи, а не маклери – это до известной степени осадит тебя, утрет твои «слюни» и приведет в порядок твои утробные урчания. Но будет ли и за всем тем принцип семейственности тобой утвержден – на это, я полагаю, и прозорливейший из публицистов утвердительного ответа не даст. Да и ответить тут можно только одно: не будет, наверное не будет – вот и все.

В заключение еще один вопрос: о неоставлении присных без заступления, или же, что то же самое, о неприменении к ним принципа предательства.

Я, Прогорелов, совершенно некомпетентен по этому вопросу. Всю жизнь я столповал за свой собственный счет, а о присных слышал только за обедней в церкви. Тем не менее, возобновляя в памяти процесс моего переименования из столпов в пропащие люди,

я должен сознаться, что в числе причин этого превращения немаловажную роль играло и то, что я процветал независимо от процветания моих соотечественников, что я ни за кого не поревновал, никого своей грудью не заслонил. Стало быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не должен брать примеров с меня (к чему ты, мимоходом сказать, чересчур склонен), но, напротив, обязываешься поступать совершенно наоборот. Я равнодушествовал – ты сострадай; я бездействовал – ты хлопочи; я держался правила: носа из мурьи не совать – ты выбегай из мурьи как можно чаще, суй свой нос, суй! Хлопочи об концессиях, но не забывай и о соотечественниках. Это хорошо зарекомендует тебя в их глазах и их самих заставит надеяться и верить в лучшие дни. Выйдет ли что-нибудь из этих хлопот, надежд и верований – это вопрос другой, и ежели ты хочешь, чтоб я ответил на него по совести, то изволь, отвечу: не выйдет ничего, потому что у тебя и на уме ничего такого, чтоб что-нибудь вышло, – нет. Но все-таки старайся, радей, хлопочи!

За сим моя речь кончена. Вкратце она может быть резюмирована так:

Люби отечество, чтти государство, повинуйся начальникам.

Блюда свою собственность, но не отказывай и

присному твоему в праве иметь таковую.

О Кунавине, по возможности, позабудь.

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта даст тебе силу и все остальное, без труда совершить.